

ВЕРА НОВИЦКАЯ

БАСУРМАНКА

ГЛАВА 1

Красиво раскинулся на пригорке величественный барский дом. Ослепительно белыми кажутся его массивные колонны и стены в ярком, причудливом освещении заходящих июньских лучей; сверкающей снежной громадой высится он среди изумрудного моря пышной листвы. словно верные телохранители, обступили его со всех сторон могучие кудрявые липы. То неподвижно, как бы прислушиваясь, стоят они, то, будто готовые дать отпор, вытягиваются во весь свой гигантский рост, с гордо приподнятыми головами, то, видимо, успокоенные, с заботливой нежностью склоняют могучие ветви над дорогим своим детищем.

И дальше, по всем направлениям, вдоль всего громадного чудного сада, спускающегося до блестящего озера, и в противоположную ему сторону, – всюду стройными размеренными рядами тянется бессловесная зеленокудрая стража; точно заколдованные воины, стоят густолиственные великаны, готовые при малейшей опасности выступить дружной, тесной ратью против неприятеля. Но до сих пор никакое вражеское нашествие не грозило владельцам Благодатного; беспечно и радостно протекала здесь жизнь, оправдывая данное родовому гнезду название.

Вот и теперь из глубины тенистого сада неслись веселые возгласы, звонкий молодой смех.

Позади цветников с затейливыми клумбами, фонтанчиками и всякими другими произведениями искусных рук на просторной зеленой полянке, еще залитой солнцем, горелки[1] были в полном ходу.

Молодые лица пылали румянцем и искренним, беззаботным весельем.

Едва раздался призывный возглас: «Птички летят!» – как с одной стороны кинулся бежать широкоплечий молодой человек, лет двадцати восьми, с добрым веселым, но совсем некрасивым лицом, с другой – высокая полная брюнетка, производившая, несмотря на свои тринадцать лет, впечатление взрослой барышни.

Хотя эта девочка не отличалась особой ловкостью и бежала гораздо медленнее своего быстрого сотоварища, почему и поймать ее было несравненно легче, тем не менее «горящая» девочка опрометью кинулась за более трудной, а потому и заманчивой добычей.

Стрелой полетела она наперерез двум бегущим. Полудлинное, пышное кисейное платье розовым облаком развевалось вокруг ее тоненькой фигурки. Со скоростью и ловкостью белки неслась она, делая быстрый скачок то вправо, то влево, то поспешно поворачиваясь назад, сообразно тем уловкам, какие принимал ее противник.

Все играющие с живейшим интересом следили за состязанием, так как до сих пор Николай Михайлович, теперешний противник девочки в розовом, оказывался непобедимым. Визг и сочувственные возгласы то одной, то другой стороны неслись из всех уст.

– Скорей, скорей, Женя! Уж Нелли сейчас добежит до Николая Михайловича!

– Николай Михайлович, не поддавайтесь! Ай-ай! Она сейчас схватит вас!

– Не схватит, а уже схватила! – раздался звонкий торжествующий голосок.

– Ур-ра!.. Поймала!.. Я – первая! Я! Только я, одна я!..

Розовая девочка, совсем по-детски, сперва чуть-чуть присела на согнутых коленях, потом с тем же торжествующим: «Ур-ра!» – запрыгала на двух ногах сразу.

– Браво, Женя!

– Ай да Женя!

– Молодец!

– А что, Николай Михайлович, спасовали? Сконфузили вас? А?

Но побежденный добрым и приветливым взглядом смотрел на свою победительницу. Да нельзя было и не залюбоваться ею в эту минуту.

Продолговатое нежно-розовое личико было обрамлено целой шапкой каштановых кудряшек с как бы продетыми в них золотистыми нитями, отчего вся головка была точно усыпана блестящими искорками. Казалось, солнечный луч, однажды запутавшись в этих золотых завиточках, не смог более выбраться оттуда. В светло-карих блестящих глазках сверкали те же искорки, что и в волосах. Тоненькие, немного светлее волос, брови, острый носик, маленький пунцовый рот с мелкими, как у мышонка, зубами – все это было ярким воплощением юности, бьющей ключом жизни, молодого искрящегося веселья и задора. Тоненькая, хрупкая, с крошечными руками и ногами, эта почти пятнадцатилетняя девочка-подросток производила впечатление двенадцатилетнего ребенка.

Тоненькая, хрупкая девочка-подросток производила впечатление двенадцатилетнего ребенка.

– Женя, а теперь нас! Нас поймаешь? Хорошо? А вот нет! Хочешь пари, что нет? Ну, только попробуй! Вот не поймаешь, и стыдно будет, – заискивающе смотрели ей в глаза, опасаясь получить отказ и стараясь ее раззадорить, братишка Боря и его гость Митя, один семи, другой девяти лет.

– Подумаешь, штука! Большие! – смеющимися глазами, но несколько свысока оглядывая их, проговорила девочка.

– Ты напрасно говоришь, это совсем не так легко, я о-го-го как скоро бегаю, даже Николай Михайлович не всегда может поймать меня, вот увидишь, – хвастал Боря.

– Ну, так и быть. Марш, карапузы, оба сразу! Обоих догоню, хотите? Ну, летите, птички!

Не успели мальчуганы разбежаться в разные стороны, как Женя быстро метнулась вправо, ухватила за рубашонку Борю и, держа добычу в одной руке, кинулась за Митей.

– Есть и второй! – через мгновение воскликнула она.

– А теперь за это оба вместе и горите. Эй, птички! Юрий Николаевич! Китти! Летите!

Стройная хорошенькая блондинка в точно таком же, и как Женя, розовом платье и молодой шатен в студенческой форме, обежав с противоположных сторон круг, к огорчению обоих бутузов, веселые и возбужденные, подали друг другу руки.

– Китти, Женя! Скоро подадут ужин, надо возвращаться домой! – раздался в это время за спиной играющих голос гувернантки, мисс Тоопс.

– А-ах, «мисочка»[2], вы всегда не вовремя! – капризным тоном протянула Женя. – Как только весело, непременно или пить, или есть нужно! Главное, даже ведь еще и нет вашего противного ужина. Говорите «скоро будет», ну и мы скоро будем. А теперь, Топсик, миленький, уходите вы домой, дайте нам еще полчаса побегать.

– Но, Женя, может быть, гостям угодно закусить...

– Ничего им не угодно, Топсик! А если и угодно, так подождут, потом с большим аппетитом покушают. Правда ведь, гости, вы больше играть хотите, чем есть?

– О, конечно, но, может быть, мы задерживаем? – вежливо осведомилась студент, бегавший только что с хорошенькой блондинкой в розовом, и его сестра, Нелли, рослая тринадцатилетняя девочка.

– Никого мы не задержим, я уверена. Если мы бегали и то есть не хотим, то папа и мама, которые все время сидели, тем более не хотят. Правда, «мисочка»? Ну, так идите и скажите, что мы через полчаса будем, может, на каких-нибудь минут пятнадцать опоздаем... – ластясь к англичанке, тараторила Женя.

– А теперь, господа, за дело! Нелли «горит». Мы с тобой «летим», Сережа, – обратилась она к черноволосому курчавому юноше, почти мальчику, без всякой растительности на веселом открытом лице, со смеющимися черными глазами.

– Ну, раз! Два! Три-и!..

Не успела оглянуться и пробежать нескольких шагов малоповоротливая, медлительная Нелли, как быстрые и ловкие, как птицы, Сережа и Женя уже «слетелись» в положенном пункте.

– Не поймала! За нами опять очередь. Еще летим! – снова радостно прыгала возбужденная Женя.

Но вторичный бег был менее удачен. Едва Сережа сделал несколько шагов, следом за ним ринулась Нелли. Казалось, неповоротливой девочке не угнаться за юрким юношей, как вдруг, не добежав нескольких шагов до конечной цели, Сережа под громкий хохот окружающих во всю длину растянулся на лужайке и был пойман подоспевшей Нелли.

– У-у, медведь неповоротливый! – хотя и тоже смеясь над комично растянутой фигурой юноши, но все же недовольная, слегка покраснев, проговорила Женя.

– Что ж, значит, я горю! – и она стала во главе играющих.

Дважды приходилось Жене быть в паре с Нелли, когда «горел» Сережа, и оба раза, едва отбежав несколько шагов, Нелли давала юноше поймать себя, а Жене приходилось снова «гореть».

– Это не игра! Это нечестно! Я больше не играю! – загорячилась девочка и, вся вспыхнув, со сверкающими глазами отошла в сторону.

– Женя, успокойся, ради Бога, – приблизившись, вполголоса урезонивала ее Китти. – Ведь неудобно же, невежливо. Нелли – гостья.

– Гостья! Так я из-за нее, как почтовая лошадь, бегай, а она нарочно Сережке поддаваться будет? Гости тоже должны быть деликатными и честными, да, честными. А так это не игра!

Зная по опыту, как нелегко в подобные минуты сразу успокоить добрую сердцем, но вспыльчивую и горячую Женю, Китти предоставила девочке уйти на боковую дорожку, в ее излюбленный для «дутья» уголок, а сама направилась к остальной компании.

Едва завидев приближение девушки, от группы молодежи отделился и быстрыми шагами поспешил к ней навстречу студент Юрий Муратов. Настигнув ее, молодой человек несколько взволнованно проговорил:

– Китти, можно мне поговорить с вами? Теперь же, сейчас? Скоро ведь позовут ужинать, а мне так нужно, так необходимо сказать вам кое-что!.. Сегодня я целый день искал случая, и все кто-нибудь да мешал.

– Конечно, можно. Говорите, я слушаю.

Китти подняла на собеседника свои большие синие глаза. От того, что она прочла во взгляде студента, во всем выражении его каким-то внутренним светом озаренного лица, дрогнули и опустились длинные ресницы девушки; горячий румянец залил ее нежные щеки, заставив порозоветь маленькие уши, сильнее и радостнее забиться сердце.

– Только не здесь. Ради Бога! – просил Юрий. – Вот Сережа к нам направляется. Пройдем куда-нибудь, хотя бы сюда, в каштановую аллею, в вашу любимую, – ласково скользнув глазами по милому лицу, слегка дрожащим голосом добавил он.

Девушка безмолвно направилась влево, когда за ними раздался вопрос Сережи.

– Китти, ты не знаешь, где Женя?

– По обыкновению, в своем «будуаре», – на ходу ответила сестра.

– Вы знаете, – уже к своему спутнику обратилась она, – французы уверяют, что будуар – это комната *où les dames bouquent*[3]. Не правда ли, остроумно?

Но ни сама она, ни Юрий, как было бы в другое время, не засмеялись над удачным словцом, до которых вообще оба были большие охотники, только светлая улыбка промелькнула по лицам, во взглядах обоих. Но она скорее отражала еще неясное, но радостное чувство, которое дрожало в них, которое они как бы боялись спугнуть громким смехом или посторонним словом.

– Же-ня! – донесся до молодых людей звучный голос Сережи, но ответа на его призыв они не слышали. Впрочем, его и не последовало.

– Что ж ты не отзываешься, Жулинька, а-а? – добродушным тоном обратился Сергей к девочке, опускаясь рядом с ней на большую дерновую скамейку, устроенную наподобие турецкого дивана среди живой беседки уже отцветающей сирени.

Женя, не меняя позы, продолжала молча сидеть, капризно закусив нижнюю губу, нетерпеливо похлопывая ногой об ногу и теребя волан своего кисейного платья.

– Ну, будет злиться, Жук! Пойдем, а то неловко. Гостью свою, Нелли, одну бросила! Да и ужинать пора, сейчас опять «миска» примчится.

– Давно ли Нелли стала моей гостьей? – насмешливо заговорила девочка. – Кажется, ты гораздо больше ею занят, чем я. Наконец, пусть она и моя, но я великодушно предоставляю ее тебе! Я, язык высунувши, по два часа ради ее потехи больше бегать не стану, понимаешь? Не стану! – снова загорячилась Женя. – Смотреть на ее кривлянья и как она поддается тебе – тоже! Угодно, сам поди разок-другой шлепнись для потехи, нужно будет, и нос себе расквась, а нет – ногу вывихни, авось за это тебя одарят обворожительным взглядом дивных глаз.

Веселая улыбка пробежала по лицу Сережи.

– Кстати, глаза у нее прекрасные, – с ударением произнес он.

– У нее? Давно ли? – даже привскочила девочка.

– Всегда были! – спокойно и весело продолжал Сергей. – Разве неправда? Сама скажи.

– Уди-ви-тель-но! – насмешливо протянула Женя. – Глаза как глаза, в разные стороны не разбегаются. Еще этого не хватало!

– Ну, уж ты не станешь отрицать, что Нелли красива?

– И гра-ци-оз-на... – с величайшим презрением вторила девочка.

– И грациозна! – спокойно подтвердил Сережа.

– Грациозна? Она – грациозна? Ты смеешься, конечно? – снова вскочив и даже заломив от негодования руки, воскликнула Женя.

– Во всяком случае, в десять раз грациознее тебя, – прищутив глаза и пристально глядя в лицо своей собеседницы, тоном, не допускающим возражений, отрезал Сережа.

– Что?! Что такое?! Она?! Она!? Эта тумба грациознее ме... ме-ня?!

Глаза девочки сделались огромными и метали дождь золотых искр.

По мере того как все большим негодованием и обидой разгоралось лицо Жени, в черных смеющихся глазах Сергея мелькали добродушно-лукавые веселые огоньки.

– Смешно даже сравнивать вас! – так же неопровержимо продолжал он. – Она, Нелли, пластически грациозна, вот как любили древние греки, а ты... ты...

– Что я?.. – торопила Женя.

– Прости меня, ради Бога, но раз дело пошло на откровенность... Ты возле нее точно... цапля...

– Что-о? Я – цапля?!

– Да, цапля. Еще раз извини. Особенно, когда бежишь: ноги длинные-длинные, только они и мелькают, а там, на самом верху, глядишь, маленькая головенка торчит, да и та вдобавок всегда трепаная. Вот хоть сейчас, – и он указал пальцем на разметавшиеся кудряшки.

– Вот оно что-о! Прекрасно! Теперь я понимаю, почему ты все время избегал быть со мной в паре: вдруг ты – и цапля!!..

На последнем слове голос Жени дрогнул от сдерживаемых слез, и глаза стали влажными.

– Ну, Жулинька, полно злиться, – ласково заговорил Сергей. – Пойдем! Право, нехорошо Нелли одну оставлять, что ни толкуй, а гостя же она, да и ужинать пора.

Но девочка тряхнула головой и окинула его сверкающими гневными глазами.

– Во-первых, прошу мне кличек не давать, да еще, как сегодня, при посторонних. Я не маленькая и не собачонка какая-нибудь. Небось, с другими вежливым быть умеешь! «Нелли! Нелли!» – с ужимками, слащавым голосом передразнила она. – Противно и глупо. Что за Нелли? Точно нет русского слова: Ленка, Лёлька, вот и все. И никуда я отсюда не пойду, и нечего тебе срамиться с... цаплей вместе идти.

Женя опять проглотила слезы.

– Слушай, Женя, но ведь Нелли все-таки одна.

– Не одна вовсе, и ты, и Лида там.

– Я в настоящую минуту здесь, а Лида тоже гостя.

– Во-первых, можешь и ты идти, а во-вторых, не беспокойся, она свои очаровательные глазки закатывает пока перед Николаем Михайловичем. Ведь ей все равно, этой «греческой богине», перед кем кривляться.

– Ну брось, Жучок.

– Опять! Опять кличка!..

– Но я не знаю, почему ты сегодня за нее обижаешься, ведь я тебя часто так называю. Говоришь «при чужих», но Муратовы свои, их отец слишком старый друг папá, чтобы они для нас были чужими. Кроме того, ты так же хорошо знаешь, как и я, что Китти и Юрий любят друг друга, и семьи наши не сегодня-завтра еще и породнятся...

– Вдвойне... – насмешливо подхватила Женя. – Особенно после того, как ты женишься на «обворожительной» Нелли.

– Скоро ж ты меня сосватала! – широко и весело улыбнулся Сережа. – Однако, пока дойдет до женитьбы, все-таки нужно и себя, и невесту ужином покормить. Так ты не идешь? Окончательно? Ну что ж, значит, я буду вынужден сказать мамá, что ты дуешься, да еще при гостях. Ты знаешь, как это ей приятно.

При последних словах девочка сделала было порывистый жест, но Сережа, не дав ей открыть рта, продолжал, нагнувшись совсем близко к ней.

– А теперь хочешь знать правду, почему я ловил Нелли, а не тебя?

Глаза девочки несколько просветлели и с живым интересом устремились в лицо говорящего.

– Ну-у? – только проронила она.

– Потому, что ты ловка и изворотлива, как мышонок, и я боялся, что все будут смеяться, когда я, долговязый балбес, не смогу справиться с тобой. Поняла? А за той тумбой – только руку протяни – цап, и готово.

– Правда?.. Потому?.. А не оттого, что я цапля?.. Нет? Говори же... Говори! А зачем же ты раньше сказал?.. – радостно и недоверчиво, со сверкающим весельем лицом, допытывалась девочка.

– А зачем ты злилась? – вопросом ответил Сергей. – Ах ты, кипучка-кипучка, никак ты нрава своего усмирить не можешь. Ну, а теперь бегом!

Он взял ее за руку и вывел из беседки.

– Сережа, милый, посмотри. Ах, как хорошо! Там, в глубине, налево, – Юрий и Китти.

В ту минуту, когда Женя заметила их, молодые люди, дойдя до поворота аллеи, ведущего к полянке, на которой недавно играли в горелки, остановились, держась за руки и любовно глядя друг другу в лицо. Затем Юрий поднес к губам обе руки Китти, а потом в порыве глубокой нежности прижал к своей груди белокурую головку девушки и поцеловал ее шелковистые волосы.

– Господи, как хорошо, как хорошо! Как я рада! – восторженно воскликнула Женя. – Как они, верно, счастливы, и какие они хорошие! Посмотри на Китти, она точно ангел, точно святая. Ах, какая она прелесть! И ты, Сергуня, прелесть, и ты – милый, такой милый!..

Девочка, вдруг приподнявшись на цыпочки, обвила руками и поцеловала кудрявую черную голову юноши.

– Только зачем ты так дразнишь меня? – укоризненно закончила она.

– А ты, Жучок, не злись, – растроганно и ласково пожал он руку девочки.

– Бежим, бежим! – теперь уже Женя торопила его.

– Китти, милая, ты такая милая! – добежав до девушки, она горячо обняла ее.

– Что это ты, Жучок, так расчувствовался? – глядя счастливыми глазами в веселое личико девочки и от души возвращая ей ласку, спросила Китти.

– Хорошо? Хорошо, Китти? Ведь, правда, хорошо?

Но та ответила лишь вторым горячим поцелуем.

– Нелли, Лидочка, вы, верно, проголодались? – суетилась Женя около подруг. – Идем кушать!

Она ласково взяла Нелли под руку и особенно занялась именно ею, точно стараясь искупить все злое и недоброжелательное, что в порыве раздражения заочно наговорила в ее адрес.

– Грядем, грядем, мамочка! – издали закивала Женя стоявшей на ступеньках балкона матери. – Идем и есть будем!!! Правда, господа?

Вся веселая компания направилась к большой, спускающейся прямо в цветник веранде, обвитой зеленой сеткой высоко всползающего дикого винограда, которая в летнее время заменяла столовую.

– Грядем, грядем, мамочка! – издали закивала Женя стоявшей на ступеньках балкона матери. – Идем и есть будем!!! Правда, господа?

Вся веселая компания направилась к большой, спускающейся прямо в цветник веранде, обвитой зеленой сеткой высоко всползающего дикого винограда, которая в летнее время заменяла столовую.

– Что, видно, правду говорят: голод не свой брат? Хочется, небось, набегавшись да нагулявшись, червячка заморить? – с веселой улыбкой приветствовала молодежь еще стройная красивая блондинка с ласковыми синими глазами.

– Что касается меня, то червячков этих самых для замаривания у меня, кажется, не один, а целая дюжина завелась, – откровенно заявил Сережа. – Ведь можно уже, мамочка, и ням-ням? Правда?

– Нет, друзья мои, придется чуточку обождать, но не пугайтесь, совсем немножко. Дело в том, что сию минуту приехал из Москвы Дмитрий Петрович и пошел слегка оправиться и переодеться с дороги... Впрочем, – сама себя перебила говорившая, – вот, кажется, они с папá идут.

Действительно, раздались шаги, и в дверях появился грузный, высокий старик лет шестидесяти. Красное лицо с громадными бакенбардами, широким носом, густыми нависшими бровями было бы непривлекательным, если бы не умные, добрые, еще полные жизни глаза, которые не только сглаживали впечатление всего неправильного и расплывшегося лица, но и заставляли с истинным удовольствием останавливаться на нем. Это был приезжий друг дома и крестный отец Сережи, Дмитрий Петрович Сазонов, возвращавшийся из Москвы в свою родовую вотчину.

Следом за ним шел бодрый, цветущего вида военный лет пятидесяти, с открытым приятным лицом и смеющимися большими черными глазами, – сам хозяин Благодатного, Владимир Михайлович Троянов.

– Ну-с, теперь позвольте еще раз поцеловать ваши ручки, моя дорогая Анна Николаевна, – промолвил гость, с истинным дружелюбием целуя одну за другой протянутые ему руки. – Так уж я всегда рад видеть вас, так доволен, когда попаду в ваше поистине благодатное Благодатное, – продолжал он.

– Что-то незаметно, друг мой, – ласковым поцелуем в лоб отвечая на его приветствие, возразила Анна Николаевна. – Не частенько балуете вы нас своими приездами, особенно последнее время.

– Здравствуйте, красавица моя, солнышко ясное! – обратился старик к присевшей перед ним Китти и, сердечно, по-отечески обняв ее, поцеловал в лоб.

– Господи, как растут, как растут-то! И не оглянемся мы, дорогая моя Анна Николаевна, как похитит ее у нас какой-нибудь Иван-Царевич. И молодец будет! – добродушно закончил старик, ласково трепля девушку по плечу.

При его словах румянец ярким заревом залил лицо, уши, даже нежную шею девушки. Она поспешно потупила глаза, точно боясь, чтобы они не выдали чего-то дорогого и милого, притаившегося в их глубине. Румянцем вспыхнули и смуглые щеки Юрия, опустились и его глаза.

Женя, тоже порозовевшая из сочувствия к Китти, с искрящимися глазами, радостная и счастливая, смотрела то на нее, то на Юрия, не в силах скрыть своего тайного удовольствия. За такие разумные речи, казалось ей, необходимо тотчас же вознаградить доброго старика. Девочка поспешно подбежала к нему.

– Дмитрий Петрович, миленький, а со мной вы не хотите разве поздороваться? – сделав реверанс старику, сказала Женя и подставила ему свою веселую мордашку.

– Не хочу, то есть ни-ни не хочу, – добродушно двигая густыми бровями и смеясь глазами, ответил Сазонов.

Он взял девочку за подбородок и, глядя в ее золотистые глазки, продолжал:

– Ну, а ты когда солидности наберешься? Ведь, поди, годов пятнадцать на белом свете отжила, а все таким же маленьким майским жучком осталась!

Ласково потрепав свежие щечки девочки, он расцеловал ее смеющееся личико.

– А, крестничек дорогой! Ну и молодчинище! Вишь ты, цветущий-то какой, что называется, кровь с молоком. Здравствуй, здравствуй, братец! – старик обнимал уже Сергея. – Рад, сердечно рад, что молодцом таким растешь, крестного своего не конфузишь. Не оглянемся с вами, кумушка, как совсем мужчиной станет...

– И его, того гляди, какая-нибудь королевна прекрасная похитит?.. – перебила Женя последние слова старика.

Все ее лицо подергивалось лукавым смехом. Чуть заметно подтолкнув Сережу левым локтем, красноречиво прищурившись, она уморительно скосила глаза в сторону стоящей позади нее Нелли и сейчас же перевела их на Сережу.

Кроме него и Сазонова никто не видел игры ее лица, зато эти двое, хотя безмолвно, но искренне посмеялись.

– Ах ты, стрекоза! – ласково погрозил ей пальцем старик.

Процедура здравования постепенно окончилась; все стали усаживаться за стол.

– Что новенького да хорошенького привезли вы нам на сей раз из Москвы, друг мой? – обратилась к гостю Анна Николаевна.

– К сожалению, мало хорошего, голубушка моя, – голосом, сразу потерявшим всю свою прежнюю веселость, ответил Сазонов. – Грустные, печальные известия привез. В первую минуту так обрадовала меня встреча со всеми вами, что я как будто и позабыл о крупном бедствии, надвинувшемся на нас.

– Бедствии? А что такое? – раздалась тревожные вопросы.

– Наполеон со своим войском перешел Неман и вступил в пределы России.

Впечатление от этих слов получилось ошеломляющее. Все ахнули и мигом притихли.

– Французы в России? Так неожиданно! – вымолвила пораженная Анна Николаевна.

– Не столь неожиданно, сколько коварно, – поправил Сазонов: – Ведь возможность войны с Францией все время висела над головой, но наш император не хотел проливать крови. «Я употреблю все усилия, – сказал он, – чтобы отвратить войну, но сражаться сумею и дорого продам свое существование. Мой народ тоже не из тех, кто отступает перед опасностью». – Затем, как рассказывают, государь в беседе с французским

дипломатом, указывая ему на карте берег Берингова пролива, добавил: – «Если же Наполеон решится на войну, и счастье будет не на стороне правого дела, ему придется дойти до сих пор, чтобы заключить со мной мир».

– Как это похоже на нашего милого государя! – с восторгом проговорила Анна Николаевна.

– Да, рыцарь, как всегда! – подтвердил ее муж.

– Верным себе он остался и дальше, – продолжал Сазонов.

– Но где сейчас государь? Что с ним? Ведь еще на этих днях он был в Вильне, в двух шагах оттуда, куда вторглись французы, – встревожилась Троянова.

– Да, – подтвердил Сазонов, – в то время, когда Наполеон приказал войскам перейти русскую границу, наш император действительно был в Вильне. Узнав о переправе французов, по силе и численности более чем вдвое превышающих наши войска, государь отдал приказ по армии, который заканчивался так: «Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и войскам нашим об их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины! Вы защищаете веру, отечество и свободу! Я с вами. На зачинающего Бог!» – торжественно закончил рассказчик.

– Да, он весь тут, наш чудный, умный государь! – со слезами в голосе снова проговорила Анна Николаевна.

– Милый, золотой государь! – с искрящимися глазами и пылающими щеками восторженно воскликнула Женя.

Сережа, растроганный, щурил свои черные глаза, словно желая задержать этим движением просящиеся наружу слезы умиления.

Китти сидела с теплящимся влажным взглядом.

Николай Михайлович, все время не сводивший глаз с говорившего, при заключительных словах низко опустил голову. Теперь был виден только его большой выпуклый лоб; сильно подергивавшиеся мускулы лица выдавали глубокое внутреннее волнение молодого учителя.

Юрий Муратов при первых же словах печального известия казался всецело охваченным им. Безмолвно, не роняя ни звука, он слушал рассказ Сазонова. Большие карие глаза разгорелись; порой он переводил взгляд на Китти, и тогда его взгляд светился еще ярче.

Растроганный, затих и сам рассказчик. Наступила минута глубокого взволнованного молчания.

– Бог милостив! – первым нарушил его хозяин. – Не так это страшно. Пусть полчища Наполеона вдвое, втрое превосходят наши, но у них нет того святого великого двигателя, что есть в душе у нас, что удесятерит и наши телесные силы. Что общего у Наполеона с его пестрой сбродной шайкой? Что, кроме корысти, жажды славы и наживы, движет на нас эту темную тучу? Что окрыляет их души? Что светит им изнутри? Нет, не перебить им своими штыками и ядрами того могучего, святого чувства, которое вспыхнет в каждой русской груди, зажжет каждое русское сердце, – даже ценой жизни отстаять малейшую пядь родной земли, орошенную кровью наших предков;

кровь эта с полной мощью заговорит и в нас, поднимет каждого русского на защиту своей святой веры, дорогóй родины и светлого царя!

Высоким одушевлением звучал голос боевого генерала. Глядя на него, верилось, что если в каждом русском так же сильно вспыхнет патриотическое чувство, то России не страшны никакие вражеские вторжения.

Женя, с лицом, орошенным восторженными слезами, давно уже жалась к отцу. Еще в середине его речи, перекочивав с противоположного конца стола, она примостилась у его плеча. Юрий, сидевший рядом с Трояновым, под влиянием глубокого внутреннего чувства при последних словах генерала безмолвно прижался губами к его руке.

Никто не произносил ни звука: казалось, нечего было добавить к услышанному. Мало раздалось слов, зато как много, как глубоко было перечувствовано этим небольшим кружком людей, из поколения в поколение воспитанных в любви к царю и родине, выросших на рассказах о доблестном прошлом своих предков и гордящихся им.

– Что же, уже были крупные схватки? – несколько успокоившись, осведомился Троянов.

– Пока никаких известий, кроме того что неприятель перешел границу. Скоро услышим. Бог милостив, он будет на стороне правого дела, – отвечал гость.

Во все остальное время ужина разговоры велись на ту же тему – о разразившейся войне. Молодежь, недавно шумная и оживленная, теперь затихла, прислушиваясь к общемуговору.

Постепенно гости начали собираться домой; закладывали экипажи. Первым распростился Сазонов; за ним поднялись Лида с братишкой и гувернанткой; потом заговорили об отъезде Муратовы.

После ухода генерала Женя пришла в крайнее возбуждение. С вновь засверкавшими глазами, полная ожидания чего-то радостного и необычайного, она вся так и насторожилась.

«Вот сейчас проводят гостей, тогда Юрий подойдет к папá и мамá и будет просить руки Китти. Господи! Как хорошо!» – думала она.

Наполеон, французы, союзные войска, все, быть может, грозящие России бедствия – всё в эту минуту забыла девочка. Весело и трепетно билось ее сердечко от предвкушения той громадной радости, которая вот сейчас, сию минуту, впорхнет к ним в дом.

«Как будут довольны папá и мамá! Они так любят Юрия, вообще всех Муратовых, так давно хотят и ждут этого счастливого дня!» – дальше несется мысль Жени.

Но что это? Нелли прощается с Китти, мадемуазель Ласи раскланивается, а Юрий... Юрий тоже прощается... Как же так? Ведь не мог же он забыть? Конечно, нет! Господи, неужели сегодня совсем не скажут? Неужели они, он и Китти, могут терпеть, держать в себе такую громадную радость?

Девочка растерянно глядит то на сестру, то на Муратова.

Вот они прощаются. Он крепко-крепко жмет ее руку, глубоко заглядывает ей в глаза. Ни слова, ни звука.

Женя недоумекает.

Но сами молодые люди, видимо, прекрасно поняли друг друга. Светлая улыбка разливается по лицу Китти. Еще одно рукопожатие – и все. Ушел!

Время позднее. Пожелав друг другу спокойной ночи, все расходятся по своим комнатам.

– Китти, что же это? Почему вы ничего не сказали? – едва оставшись наедине с сестрой, разочарованная и недоумекающая, допрашивает ее Женя.

– Полно, Жучок, разве можно в такой день, в такую грустную минуту говорить о личном счастье? Что значат радости, горести, даже самая жизнь одного человека, в то время, когда плачет вся Россия? – тепло и просто ответила Китти.

Девочка широко открытыми глазами смотрела на говорившую.

– Боже, Боже, какая же ты хорошая! Какие и ты, и Юрий оба славные! А я бы не могла, я бы ни за что не смогла вытерпеть. Китти милая, золотко мое ненаглядное, какая же ты чудная, такая, такая...

Не договорив, девочка в восторженном порыве обвила тоненькими ручками стройную фигуру сестры и припала головой к ее плечу. Молча продолжали они стоять в той же позе перед широко распахнутым в сад окном.

Ласковая серебряная ночь вливалась в комнату, ясная и безмятежная. Она не сознавала, не чувствовала той темной грозовой тучи, что нависла над Русью. Благоухающая, чарующая и сама будто зачарованная, она манила, завладевала душой.

Своей особой жизнью жил в эту минуту притихший, размечтавшийся старый сад, жил и трепетал каждой веткой, каждым листочком. Сладко спали лишь утомившиеся за день птицы: веселые и шумные, они равнодушны к безмолвной, таинственной прелести ночи. Они дремлют, набираются сил, чтобы, восторженно встрепенувшись при первых лучах пробуждающегося утра, встретить восторженным гимном золотые стрелы солнца. Спят певуньи, а темные деревья, спокойные, что никто их не подслушает, тихим говорком беседуют между собой.

Мечтательные молодые березки, радостно трепеща своими нежными листочками, слушают дивные речи, что нашептывают им стройные красавцы-каштаны, и восторженно любят их многопалыми изумрудными листьями. Великаны дубы и старушки липы смотрят на молодежь, тоже перешептываясь между собой, вспоминая радости и печали далекой, невозвратной юности.

А в густой листве притаились дивные грезы. То легкие и резвые, перепархивают они с места на место, то мчатся радостными вереницами, обгоняя друг друга, то нежатся в сени зеленых великанов, чуть шелестя своими воздушными крылышками, то обступают радостной гурьбой владычицу этой волшебной ночи, любимую дочь и верную спутницу седого Месяца, светлокрылую Мечту. И она, легкая, лучезарная, властно влечет за

собой, зовет прочь от печальной земли в лучистую, сияющую, безоблачную высь.

Бессильная бороться с чарами красавицы-ночи, стояла Китти. Личное эгоистическое чувство, придавленное всем пережитым за этот вечер, поднималось со дна души.

Светлые грезы, радостные, возможные, совсем-совсем близкие, подхватили и понесли ее; и мерещится ей, что из-за светлой фигуры Мечты выплывает еще более яркий облик – безмятежного, лучезарного Счастья. Убаюканная тихим шелестом ночи, девушка наяву видит чудный сон. Долго, быть может, еще безотчетно и неподвижно простояла бы она, вся там, в близком, светлом будущем, если бы не Женья, вернувшая ее к действительности.

– Господи, какое у тебя блаженное лицо, Китти! Ты счастлива, да? Скажи, правда? Ведь очень-очень счастлива? А я как рада, как страшно счастлива я, что ты счастлива...

На слова Жени девушка ответила безмолвным поцелуем.

ГЛАВА 2

Под кровлей уютного дома в Благодатном каждый чувствовал себя необыкновенно легко и привольно. Простотой и радушием веяло от всякого его уголка: от мягких диванов, казалось, созданных для задушевных дружеских бесед, от гостеприимно манящих в свои объятия глубоких кресел, от любопытно заглядывавших в высокие окна и приветливо кивавших ветвей деревьев, от молодых и старых, красивых и некрасивых, но радушно смотрящих со стен фамильных портретов. Казалось, в этих высоких, светлых стенах жизнь должна катиться тепло и любовно, что горести, тяжелые утраты и печали не смогли найти подходящего уголка и свить здесь свое мрачное гнездо.

В сущности, так оно и было.

Сам владелец Благодатного, Владимир Михайлович Троянов, был бодрым и жизнерадостным человеком, доступным для всякого по своему обращению. Солдат, безгранично преданный родине, он еще молодым офицером стал известен своими воинскими подвигами и назначался на ответственные должности. С воцарением императора Александра Павловича, которого Троянов знал еще ребенком и положительно боготворил, положение его было таким же прочным.

Невзирая на это, и генерал, и жена его держали себя чрезвычайно просто, без малейшей тени чопорности или гордости. Та же простота обращения царил и в домашней обстановке, в отношении к детям, челяди, служащим и крестьянам.

В те грустные времена крепостного права, когда все маленькое, обездоленное и зависимое трепетало перед всемогущим помещиком, в имении Трояновых не было запуганных и забытых лиц, ежеминутно дрожащих перед гневом, прихотью или просто дурным расположением духа самодура-барина. Здесь с дворовыми обращались ласково, каждый мог найти совет, сочувствие и помощь у своих господ. На некоторых старых и заслуженных людей, как, например, няню Василису, вынянчившую самую генеральшу, дворецкого

Данилыча и камердинера генерала, Алексея, его сверстника и товарища прежних детских проказ, смотрели как на членов семьи.

И прислуга служила господам не за страх, а за совесть, живя их интересами, скорбя их горестями, готовая каждую минуту без размышления кинуться ради них на самое опасное, самоотверженное дело. Словом, любили их той глубокой, безграничной привязанностью, на которую способно было детски-отзывчивое, незлобивое сердце крепостного крестьянина, умевшего, как святыней, дорожить каждой крупинкой добра и ласки, так редко выпадавших на его многострадальную долю.

Отношения родителей и детей были просты, искренни и задушевные. Дети не робели, не вытягивались в струнку перед родителями, не чувствовали себя связанными или растерянными в их присутствии. Утренние и вечерние приветствия не ограничивались официальным целованием протянутой руки и неизменным вопросом отца и матери, непременно на французском или английском языках, обращенных не столько к ребенку, сколько к стоявшей в принужденной позе за его спиной гувернантке:

– Здорова? Не шалила? Мисс не была недовольна тобой?

Как часто приходилось видеть это в дворянских домах того времени, когда, набрав целый штат кем-либо рекомендованных иностранцев и иностранок, им сдавали на руки почти малюток, предоставляя этим, может быть, и не дурным, но все же посторонним людям переделывать по своему усмотрению и манеры ребенка, и саму его душу.

Не то было у Трояновых. Правда, отчасти следуя моде того времени, главным же образом, осознавая необходимость образования, знания языков, умения хорошо держать себя и с внешней стороны, Трояновы тоже брали детям гувернанток и учителей, но их обязанности состояли лишь в передаче своим питомцам необходимых знаний и прививке хороших манер. Душа же ребенка, впечатления, весь его внутренний мир составляли драгоценную, неотъемлемую собственность родителей.

С лаской, терпением и чуткостью они заглядывали в маленькое сердечко, умели все понять, почувствовать за своего малыша, утешить его детские горести, прельстив чем-нибудь светлым, заманчивым.

– Мы должны быть их самыми близкими, снисходительными, терпеливыми друзьями, – всегда говаривала Анна Николаевна. – Кто, кроме нас, родителей, может больше любить, желать добра, понимать, а потому и прощать слабости этих крошек? Ведь это же кусочки нас самих, маленькие «мы», с частичками нашей души, наших же недостатков.

И действительно, дети Трояновых с малых лет чувствовали своим детским сердцем, в ком состоит их надежная опора, источник их благополучия. С открытой душой бросались они каждое утро на шею отцу и матери. Может быть, слишком порывисто, слишком шумно и недостаточно почтительно обращались они с родителями, всячески тормоша их. Некоторые чопорные мамы осуждали Трояновых за такое «свободное воспитание», но

результатом его было то, что малым и большим легко и привольно жилось и дышалось в этой семье.

При наличии в доме посторонних, однако, соблюдались установленные правила этикета: дети чинно сидели за столом, не позволяя себе вмешиваться в общий разговор, выражать свое мнение, и отвечали лишь на задаваемые им старшими вопросы. Но когда за обедом оставались только «свои», нередко раздавались веселые, молодые голоса, то смеющиеся, то спорящие о чем-нибудь. Впрочем, теперь, за исключением семилетнего черноглазого и краснощекого Бори, все члены семьи Трояновых из детского возраста перешли уже в юный.

Старшей дочери, Китти, исполнилось недавно девятнадцать лет. Такая же белокурая, синеглазая, стройная и красивая, как мать, она и характером сильно напоминала ее. Спокойная, выдержанная, вдумчивая, очень добрая, она выросла, не доставив матери забот и огорчений ни капризами, ни какими-либо взбалмошными выходками; она с детства даже никогда не хворала.

– Окропил Христос душу чистую росой иорданской, – радостно и благоговейно проговорила няня Василиса, когда шестого января родилась Китти.

– В Крещение Господне, в праздник Богоявленский на свет народилась, всей Святой Троицей благословенная. Великое это счастье, великая это милость, коль Господь кому в такой день на свет явиться приведет; вся жизнь ему радостью будет, – пророчила старушка.

– А что, матушка Анна Николаевна, растет – дай ей Бог в добрый час – Богоявленочка наша? Как цветок под росой! Недаром сказывала я тебе, – любовно оглядывая подраставшую девочку, самодовольно говаривала няня. Пророческие ее слова как будто действительно сбывались.

Нельзя сказать, чтобы много возни причинил родителям и черноволосый, черноглазый, всегда веселый, добродушный, хотя и вспыльчивый, Сережа. Этот имел громадное сходство с отцом: тот же открытый бесхитростный характер, жизнерадостный, пылкий, легко поддающийся всякому впечатлению.

Что касается Жени, то она не была похожа ни на отца, ни на мать. Впрочем, было бы даже странно, будь оно иначе. Хотя она называла Трояновых папá и мамá, хотя безгранично, с восторженной, свойственной ее характеру, чисто дочерней нежностью любила их и те платили ей истинно родительской любовью, никогда, даже в пустяке, не делая различия между нею и остальными детьми, но, в сущности, она была им не только не дочь, но даже и не родственница.

Лет за двенадцать до того, как начинается наш рассказ, у одной дальней родственницы Анны Николаевны умер ребенок. Троянова поспешила навестить бедную мать, которую постигла такая тяжелая утрата, как скоропостижная смерть единственного в семье четырехлетнего мальчика.

Несчастливая женщина, прижимая к глазам носовой платок, подробно описала ход болезни ребенка, а потом неожиданно добавила:

– Я уверена, что это она принесла нам несчастье, эта француженка...

Когда Анна Николаевна подняла на нее удивленные глаза, та принялась сбивчиво говорить, всхлипывая и обильно пересыпая свою речь французскими словами:

– Я недавно взяла к детям гувернантку, ее очень рекомендовал князь Василий. Он нашел ее где-то там, за границей... Он рассказывал мне столько трогательного о ее романтической судьбе. Муж ее, военный, стал таким горячим приверженцем Наполеона, этого проходимца, что проделал с ним массу каких-то походов, не скажу вам точно, где именно. И вот уже больше года о нем ни слуху ни духу. Положение ее ужасное, средств никаких, на руках ребенок. Тогда она решила поехать в Россию гувернанткой. Мне стало жаль ее – вы знаете мое доброе сердце, – ну, я и приютила ее с ребенком... Скажу вам откровенно, ее дочь – настоящий дьяволенок, прости Господи! Она мне сразу не понравилась... Есть у девочки в глазах что-то такое, от чего оторопь берет... Что-то такое зловещее... Но я все же уступила своему доброму побуждению и вот теперь расплачиваюсь! Не успела эта особа поступить на службу, как мой бедный ангел, мой ненаглядный сынок... – она захлебнулась слезами и не закончила. – Вы знаете, они такие неблагодарные, эти наемницы, – снова овладев даром речи, закончила дама.

Началась панихида. В числе прочих присутствующих глаза Анны Николаевны различили стоящую у дверей столовой худенькую молодую особу с каштановыми вьющимися волосами и громадными темными глазами, выражение которых глубоко поразило Троянову. Женщина то с грустью смотрела в лицо усопшего мальчика, то с каким-то ужасом переводила их на каштаново-золотистую головку крошечной девочки, жавшейся к ее платью. Столько чувства, думы, скорби было в этих грустных глазах, что в добром сердце Трояновой дрогнуло что-то.

Ребенок заплакал, и женщина, взяв его на руки, поспешила выйти.

– Вы видели ее? Эту ужасную женщину? – осведомилась хозяйка. – У нее в самом деле вид злой ведьмы. А до чего беззастенчива! – негодуя продолжала она. – Я, конечно, сейчас же велела ей оставить наш дом, так – представляете? – она мне заявила, что ей некуда идти. Как вам это нравится? Сегодня же скажу князю Василию, чтобы он избавил меня de ce trésor[4].

– Не беспокойте вашего друга. Француженку возьму я, мне как раз нужна гувернантка.

– Comment? После того, что я вам сказала? – удивилась хозяйка. – Vous n'êtes donc pas superstitieuse![5]

– О, нисколько! – кивнула Анна Николаевна.

– Вы не боитесь, что она сглазит ваших милых деток?

– Бог даст, бедная не сглазит их, – спокойно проговорила Троянова.

В тот же день состоялось переселение француженки на новое место.

Всем своим изболевшимся одиноким сердцем несчастная женщина горячо отозвалась на ласку, встреченную ею у Трояновых. Она отдыхала душой у этой тихой пристани, куда прибила ее жизненная волна. Но глаза ее

оставались всё так же печальны; обведенные широкими темными кругами, они резко выделялись на прозрачном, синевато-бледном лице.

– Буркалы[б] свои как вытаращит, ажно жуть берет! – болтали в девичьей суеверные горничные.

– Недаром сказывают, что у Столетовой она глазищами своими ребеночка насмерть сглазила, – судачила вертлявая Анисья.

– Ох, грехи, грехи! И как только господа наши в дом ее пустили? Не приведи Господь, лиха бы какого не стряслось! – неодобрительно покачивала головой ключница Анфиса.

А глаза француженки становились все больше, круги, окаймлявшие их, темнее. С ней начали делаться частые обмороки. Вызванный доктор нашел, что сердце очень слабо, прописал лекарства. Но, несмотря на порошки, здоровье больной не улучшалось, и однажды утром ее застали в постели неподвижной – сердце отказалось работать.

– Вишь ты, это, знать, сама смерть через ее глаза смотрела, – решили в девичьей.

На руках Трояновых осталось крошечное двухлетнее существо, беспомощное, бездомное и одинокое, прихотью судьбы заброшенное из родной Франции в далекую Россию.

Когда бедная крошка, горько плачущая, не дозвавшись своей мамы, доверчиво протянула ручонки Анне Николаевне и, охватив ее шею, положила головку на ее плечо, в дальнейшей участи ребенка уже не было сомнения: Троянова знала, что никогда и никуда не отдаст ее. Девочка осталась.

Не много искренней любви выпало в первое время на долю маленькой Женеьевы. Несмотря на свою прелестную внешность, на сиротство и беспомощность – все то, что обычно завоевывает сердце, девочка не располагала к себе: уж очень она была капризна и упряма; ее плач и прямо-таки исступленный крик чуть не целый день оглашали дом.

Не много искренней любви выпало в первое время на долю маленькой Женеьевы. Несмотря на свою прелестную внешность, на сиротство и беспомощность – все то, что обычно завоевывает сердце, девочка не располагала к себе: уж очень она была капризна и упряма; ее плач и прямо-таки исступленный крик чуть не целый день оглашали дом.

– Ишь, отродье басурманское во всем сказывается! – злобно говорила горничная Анисья, недолюбливавшая и даже побаивавшаяся покойную француженку.

Да и вся вообще прислуга с предубеждением относилась к ребенку.

– Зелье, не девочка! Накличет ужо она криком своим беды на дом. Хошь бы в имение куда пока отдали, а там помаленьку девку к делу бы какому приучили, а то, поди ж ты, на барском положении содержат, – ворчала Анфиса.

Быть может, много горьких минут, обид и даже пинков пришлось бы испытать бедной басурманке, если бы она нашла приют не у такой цельной

натуры, какой была Троянова, не умевшая и не хотевшая ничего делать наполовину. Однажды решив оставить ребенка, она считала себя обязанной делать для него столько же, сколько и для родных детей. Кровать девочки в первую же ночь была перенесена в комнату, где спали тогда пятилетний Сережа и семилетняя Китти, и доверена непосредственному наблюдению верной Василисы.

Нельзя сказать, чтобы Троянова полюбила с самого начала этого капризного и своенравного ребенка. Она заставляла себя ласкать его, успокаивала вырывающуюся, бьющую ножонками и ручонками девочку и искренне всем своим добрым сердцем жалела ее.

Но скоро горячая привязанность к ней девочки, ее радостно тянущиеся при появлении Анны Николаевны крошечные ручки, слезы, как росинки, останавливающиеся в золотистых глазах малютки, веселая улыбка и милые ямочки на прелестном личике – все это подкупило женщину. Потом, по мере пробуждения в ребенке сознания, на каждом шагу обнаруживалось золотое сердце, чуткость и доброта его; все крепче и крепче, властней и горячее привязывали они к сиротке добрую женщину.

Глубоко умиляло Троянову доверчивое «мама», слетавшее с уст одинокой малютки. Не задумываясь, детским чутьем своим давая этой чужой, но голубящей и холящей ее женщине имя матери, девочка старалась заполнить ту страшную темную брешь, которую безжалостным ударом произвела смерть в ее юной жизни.

Василиса, хорошо вымуштрованная, искренне преданная господам женщина, добросовестно смотрела за своей новой питомцей, но сердце ее долго, с каким-то суеверным упорством оставалось плотно запертым для «басурманки». Тщетно, хотя еще бессознательно, стучалась туда маленькая ручка. Женщина подавляла в себе добрые чувства, просыпающиеся в ней от ласки этого ребенка, от доверчиво обвивающихся вокруг ее шеи рук.

Однажды стряслось у Василисы крупное горе: умер ее тринадцатилетний сынишка Миша. Как раз в это самое утро, незадолго до того, как узнали грустную весть, на Женю напал один из приступов ее капризов: она топала на няньку ножонками и даже побарабанила кулачками по ее спине. Спустя некоторое время, войдя в комнату и увидев женщину горько плачущей, девочка подумала, что ее поведение и есть причина горя няни. Обливаясь горячими слезами, Женя кинулась к Василисе:

– Нянечка! Милая!.. Прости!.. Прости!.. Никогда... Не буду!.. Не буду больше...

Девочка стояла на коленях перед женщиной, обнимала ее колени, хватала ее красные жилистые руки, покрывая их несчетными горячими поцелуями.

– Миленькая, миленькая, прости!.. Никогда больше!..

– Полно, полно, матушка. Что ты! Христос с тобой! Негоже тебе, барышне, мне, холопке, руки целовать, – совсем растроганная, но все еще сохраняя суровость в голосе, вырывая руки, протестовала женщина.

Но Женя вскарабкалась на ее колени, обвивала ее шею ручонками, целовала мокрые глаза, прижималась своим орошенным слезами личиком к заплаканным щекам няни.

Что-то теплое, горькое и вместе отрадное подступило к сердцу женщины, и первый раз она горячо, любовно прижала к своей груди это маленькое, до тех пор упорно нелюбимое существо. С этой минуты прежде неприступная крепость была прочно завоевана.

Одно обстоятельство послужило к еще большему сближению Жени с няней. Василиса была очень набожной. Маленькая полутемная комнатка, где помещались ее вещи, была увешана иконами, перед которыми постоянно горели лампадки. Таинственно, словно из какой-то бездонной глубины, вырисовывались во мраке угла темные лики с дрожащим на них трепетным светом огоньков. Они и пугали, и неотразимо влекли к себе впечатлительную девочку.

– Это огоньки у Боженьки, чтобы Ему лучше видно было? Да, нянечка?

– Да, девонька.

– И Он все-все видит?

– Видит.

– И слышит?

– И слышит.

– И сердится, если плохое что-нибудь делаешь?

– Сердится и огорчается, девонька, ах, как огорчается, что люди такие злые.

– Огорчается?.. И плачет Боженька?

– И плачет, если очень огорчится.

– А что тогда надо делать?

– Молиться, просить Боженьку, чтобы простил. Хорошенько молиться.

– И Он простит?

– Простит, коли хорошо покаяться и попросить, а коли нет, то накажет.

Глубоко врезался в память ребенка этот разговор. С тех пор, лишь только вспыльчивая, не умеющая сдерживать себя, она наговорит и натворит, бывало, сгоряча что-нибудь лишнее, почти тотчас же проснется доброе, честное сердечко: девочка искренне, слезно кается в своем проступке там, в нянином уголке, перед темными ликами, озаренными трепетными огненными язычками.

Это, с самых крошечных лет зароненное в душу ребенка чувство навсегда прочно осталось в нем. Подрастая, Женя с тем же искренним порывом и влажными глазами простаивала подолгу перед образом, каясь в своих прегрешениях, в нанесенных ею обидах.

Не одна няня, религиозна была вся семья Трояновых. Свято соблюдались там посты, аккуратно посещались церковные богослужения. Маленькая француженка с благоговением ходила в православный храм, страстно любила все службы и обряды, с трепетным сердцем, переполненным высоким горячим чувством, шла на исповедь к русскому священнику, беспощадно бичуя себя, со всей искренностью изливала ему свои детские прегрешения.

Кроме глубокой набожности, Женя подкупала еще всех своей щедростью и необычной добротой. Все-все она была готова отдать другим. Стоило кому-либо из прислуги или дворовых ребятишек заглядеться на ее игрушку, пирожное, пряник или конфету, как, не колеблясь ни секунды, малютка уже протягивала ручонку:

– Ты хочешь? У тебя нет? Совсем нет? Ну так на, кушай.

Лакомство переходило к новому владельцу, и, глядя на то, как поспешно оно исчезало, девочка только осведомлялась:

– А что, вкусно? Сладко?

Деревенские ребятишки, а за ними их отцы, матери и сестры начинали не только привыкать, но и любить щедрую и ласковую маленькую «басурманку». Впрочем, само это прозвище постепенно вышло из употребления, и в глазах окружающих Женя стала такой же барышней, какой была Китти.

В сущности, Женя знала о своем происхождении, знала, что она не дочь Трояновых, что родная мать ее была француженкой. Как далекий, смутный сон бледной тенью вставал в ее памяти образ матери. Но он был такой далекий, тусклый и бесцветный, ничто не связывало с ним ее сердца: слишком юно было оно в то время, когда смерть порвала между сердцем ребенка и матери те духовные нити, которых не успела еще прочно закрепить жизнь.

Вспоминала ли ее Женя когда-нибудь? Скорее всего – нет. Вся сознательная жизнь девочки началась здесь, в этой семье, где ей все бесконечно дороги, где ко всем ее горячее сердечко переполнено искренней любовью. Где-то далеко-далеко, в самом темном, затерянном уголке мыслей запрято то, что ей известно о своем происхождении, но никогда не представляется ни малейшей надобности, ни малейшего повода вспоминать о нем.

Вот они все тут, ее близкие, родные: папа, мама, Китти, Сережа. Лучше ее мамочки нет матери в мире, в этом девочка твердо уверена. А папа! Ведь это ж такая прелесть! И какой герой! Перед Китти Женя благоговееет. Кроткая, спокойная, выдержанная девушка, такая хорошенькая, такая «святая», она имеет благотворное влияние на порывистую, впечатлительную, горячую Женю. Но, несомненно, больше всех в семье она любит Сережу.

Подвижный, ловкий, остроумный, всегда искрящийся жизнью и весельем – это ее герой, ее идеал, ее самый дорогой товарищ и единомышленник. Пусть у нее как в раннем детстве, так и теперь происходят с ним непрерывные ссоры и даже «схватки боевые» – пусть! Пусть изо всех только он один невыносимо ее дразнит, в ответ на что ее кулачки изо всей силы барабанят по его спине и плечам, а тонкие цепкие пальчики беспощадно впиваются в курчавую черную голову – пусть! Все это такие пустяки! Зато никто, кроме Сережи, не умеет выдумать таких интересных игр, так неподражаемо хорошо изобразить каждого, затеять тут же, под самым носом у «миски», что-нибудь необычайное. Пусть в результате возни порой появляются синяки и шишки – неважно! Зато как весело!

И, главное, никто так хорошо, как Сережа, не понимает и, право же, никто, никто не любит ее так, как он. Дразнит, мучает иногда до слез, а любит крепко. Нет, положительно лучше ее милого, славного Сережи нет и, кажется, не может никого быть на свете!

ГЛАВА 3

Прошло два дня с того памятного вечера, когда старик Сазонов привез печальную новость. Никакие дальнейшие слухи и вести о происходящем на полях сражений еще не успели проникнуть в Благодатное, однако, невзирая на это, у обитателей его появились новые заботы. И в девичьей, и в господских комнатах шли усиленная кройка и шитье: наскоро заготавливали белье, щипали корпию[7] для раненых. Хотя вести о них, имена и число жертв еще не стали известными, но, к сожалению, сомнений быть не могло: там, где встретились неприятели, уже полилась живая человеческая кровь.

Владимир Петрович писал длинные срочные письма, которые с нарочными[8] отправлялись в Москву и Петербург. С нетерпением ожидали возвращения посланий. В остальном жизнь текла своей обычной чередой.

В непарадном, так сказать, служебном уголке сада, прилегающем к домашним постройкам и нарочно к тому приновривленном, варка варенья в полном разгаре. Два громадных таза бурлят и клопочут на жаровнях. Светлорозовая пена колыхается на их поверхности, распространяя соблазнительный сладкий аромат.

Около жаровен хлопочет ключница Анфиса, мастерица и большая искусница в этом деле. Быстрая, ловкая, черноглазая Матреша помогает ей, подхватывая с огня и слегла потряхивая то один, то другой таз в ту самую минуту, когда он принимается кипеть слишком бурливо, угрожая красоте и целостности ягод.

Мухи и пчелы, почуяв лакомый запах, стаями роятся над сладкой влагой и миской, в которую снимается аппетитная накипь. Они, вероятно, плотной массой облепили бы соблазнительную снедь, если бы на страже не стояла Женя, вооруженная длинной липовой веткой.

Девочка уже с час вертится тут, принимая деятельное участие в происходящем. Слитое в громадные миски, готовое, еще горячее варенье и розовая пенка многократно испробованы и одобрены ею. В настоящую минуту вся ее заботливость сосредоточена на бурлящих тазах.

– А что, Анфисушка, неужели еще не готово? – осведомляется девочка.

– И где там готово, барышня! Пены-то вон сколько наверху собралось! А как оно, значится, доходить уже начнет, чистенькое станет, прозрачное.

– Так почему же оно пахнет, точно готовое? – сомневается Женя. – Ну-ка, дай я еще разок все-таки попробую, вдруг переваришь.

Анфиса, улыбаясь, подает ей полную ложку.

– Ой, как горячо! – слегка ожегшись, говорит девочка. – А вкусно! Прелесть! Право, Анфисушка, готово... А что, Матреша, как, по-твоему, вкусно? – сует Женя девушке оставшуюся половину. – Да постой, тут так мало, что ты

ничего не разберешь. Вот теперь попробуй, – зачерпнув из таза полную ложку, снова протягивает она той.

– Скусно! – хоть и опалив язык, но с наслаждением облизываясь, подтверждает Матреша.

– Видишь, Анфиса, – ссылаясь на этот неоспоримый авторитет, снова настаивает Женя. – С чего бы ему такому вкусному быть, если бы оно не готово было?

– А с чего ж ему и неготовому скусным-то не быть? – возражает женщина. – Ягоды да сахар, их, небось, и сыром ешь, и то скусно.

– Вот погоди, мы сейчас сравним, – не сдается Женя. – Отсюда ложку возьму и оттуда, – указывает она на уже слитое в миску варенье. – Тогда и посмотрим, такое ли оно самое.

Точно и добросовестно определить сразу невозможно, приходится повторить пробу несколько раз. К расследованию снова привлекается Матреша.

– Правда твоя, Анфисушка, не совсем еще готово. То, первое, повкуснее будет. Как ты думаешь, Матреша?

– Это, будто, малость покислее, – указывает девушка на таз. – Ан все же скусно.

– Покислей!.. Скусно!.. – передразнивает неодобрительно Анфиса. – Подумаешь, знатокша какая! Балует ее барышня, а она и впрямь воображает о себе. Эх, барышня, испортили вы мне Матрешку, вон как Малашку свою испортили. Жалится мать-то ейная, что совсем девчонка от рук отбилась. Вы ей и ленточки, и бусы, и галстучки, и платица со своего плеча. Ходит, расфуфырившись, будто и впрямь барышня какая; до нее и не подступись, так те и фыркнет, только слово скажи. Вконец девку избаловали, куда ее такую девать-то потом! – проговорила ключница не без затаенного оттенка зависти к приставленной для услуг барышень Малаше, действительно избалованной, но, со своей стороны, безгранично преданной и обожавшей их. – Не ворчи, не ворчи, Анфисушка! Никуда ее «девать» не придется, так при нас она век жить будет. Мы Малашу страшно любим, и я, и Китти, уж такая она хорошая. И умница: смотри, как скоро я ее читать выучила, прямо удивительно!

В это время внимание Жени было отвлечено появлением Бори с его вечным спутником Степкой, внуком дворецкого.

Видно, не одних мух и пчел привлекал соблазнительный сладкий запах, распространявшийся от жаровни. Между зеленью кустов, окружавших площадку, где происходило это притягательное событие, мелькали любопытные, по большей части отчаянно белокурые, растрепанные головы и замурзанные лица дворовых ребятишек – все свита Бори и его правой руки, Степки. С любопытством взирала детвора на происходящее, бросая красноречивые умиленные взгляды на соблазнительные, неотразимо пахнущие тазы.

– Анфисушка, пеночек! Пожалуйста, пеночек! – Боря сразу приступил прямо к цели, приведшей его сюда.

– Анфисе некогда, поди я тебе дам, – вызвалась Женя.

– И Степке тоже, – заявил мальчуган.

– Еще бы ты один лакомиться стал! Только этого недоставало! Конечно, обоим дам.

Девочка наложила варенья в большое блюдечко.

– Натe, получайте.

А потом обратилась к трепаным головенкам:

– А вы чего рты разинули? Небось, тоже пенок хотите? Да чего там с ноги на ногу переминаться. Выходи, команда, ну-у... Будет пир на весь мир.

Схватив миску с пенками и ложку, девочка направилась к детям.

Как тараканы из щелей, в одну секунду вынырнула из кустов мелюзга, счастливая, но все еще смущенно переминающаяся с ноги на ногу. Барышники они, конечно, не боялись, не впервой приходилось с ней дело иметь, но косые взгляды Анфисы сдерживали проявление радости.

– Ну, Васюк, ты старший, получай ложку, каждому по очереди давай. Только – чур! Без обмана, всем ровно, никого чтоб не обидеть. Понял? А вы, детвора, этак вот рядышком станьте. Так, хорошо! – одобряла Женя. – Ну, теперь начинай!

– Чево это вы, барышня, выдумали, такую уйму пенки да на этих головорезов скормить?! Я прибиралась было на ужин из нее духовой пирог сготовить, а ее как и не бывало, – сокрушенно укоряет Женю ключница.

Она не столько жалеет о невозможности испечь воздушный пирог, о котором даже не помышляла до той минуты, сколько огорчена исчезновением так любимой ею самой пенки, с которой вечерком в своей каморке умудрялась осушать по шесть-восемь чашек чаю.

– Бог с ним, с воздушным пирогом, Анфиса! Из другого чего-нибудь сделаешь, а нет, и не надо. Постоянно едим его, а этим карапузам в кои-то веки раз полакомиться приходится. Где ж им дома-то взять? Ведь только что мы дадим, тем и побалуется, бедняги... А ты что это, Васюк? А?... Это так ты поровну делишь? Я тебе, как старшему, доверила, думала, ты честный, а ты вот какой! Не хочу тебя и видеть, гадкий мальчишка, убирайся!

Женя, вся красная от негодования, основательно дернула Васюка за ухо и пинком в спину вытолкала его из группы детей.

– Нечего реветь, не пожалею. Видишь: Манька плачет, и Груша ревет, и Петя, и Андрюша, и все из-за тебя, – ты их обидел. Фу, стыдно! Малышей, крошек таких, не пожалел. Ну, и я тебя не жалею. Убирайся, убирайся, убирайся! – горячилась девочка. – А ты не плачь, и ты не хнычь, – обратилась Женя к обделенным малышам.

По несколько раз в очередь тщетно подставляли они открытые рты под ложку недобросовестного распорядителя; наконец, после третьего обманутого ожидания, когда предвкушаемая ложка, как и две предыдущие очередные, снова была поглощена Васюком, обида показалась такой острой, что малышка Груша не стерпела и заревела благим матом; ей вторило несколько голосов.

– Теперь я сама буду вас кормить! – заявила Женя. – Ну, открывайте рты!

Слезы еще катились по загорелым лицам, а открытые, как у голодных галчат рты, получив желанное, с наслаждением смаковали его.

– Вот и кончен бал! – к великому огорчению маленькой публики, проговорила девочка. – Впрочем, постойте, – озаренная новой мыслью, добавила она. – Мы Васюка накажем за то, что он вас обсчитал. Я дам вам того, чего он не пробовал и не увидит, как ушей своих, – настоящего варенья. Все еще возмущенная «подлостью» Васюка, «обманувшего» ее, чего правдивая девочка прощать не умела, Женя, прежде чем Анфиса успела опомниться, наложила в опустевшую после пенок миску варенья и принялась в том же строгом порядке рассовывать его по жадно чмокающим ртам.

– Помилосердствуйте, барышня! – схватилась за голову Анфиса. – Таковую прорву варенья на этих паршивцев извести! Брысь отсюда, негодники! – отвела она душу на сразу оробевших ребятишках.

– Да не сердись ты, право, Анфиса! Чего ты скупишься?! Варенья этого у нас во сколько, а не хватит, так и не хватит, ну его! На что оно, если даже покормить никого нельзя...

Не договорив слова, Женя словно замерла, внимательно прислушиваясь к чему-то.

– Подъехали... Ну да!

Сунув миску с остатками варенья ближайшему от нее ребенку, она стрелой помчалась к дому.

Женя, прежде чем Анфиса успела опомниться, принялась рассовывать варенье по жадно чмокающим ртам.

Чуткий слух не обманул Женю – от крыльца отъехала коляска, привезшая Юрия Муратова.

Без всяких церемонных докладов, как близкий знакомый, молодой человек, пройдя цветник и веранду, очутился в примыкавшей к ней маленькой гостиной.

Там, за небольшим столиком, заваленным лоскутьями и кусками полотна, сидела Китти, усердно щипавшая корпию. При звуке милых шагов все лицо девушки осветилось радостью, счастливая улыбка полу открыла ее губы. Поспешно поднявшись, она, с протянутыми руками, пошла навстречу жениху. Тот взял их и по очереди нежно поднес к своим губам.

– Голубка, радость моя! – тепло проговорил он. – Я так рвался вчера, да не смог всего наладить. Сегодня я приехал сказать обо всем твоим отцу и матери; но раньше я хотел бы поделиться с одной тобой моими мыслями, ощущениями и... решением, – он на минуту как бы запнулся. – Я знаю, что моя Китти почувствует и поймет все именно так, как я сам. Она такая чуткая, душой такая близкая моей душе. Сядем тут в уголок, пока никого нет, и потолкуем. Я без всяких предисловий приступлю к делу. Китти, голубка моя, может быть, в первую минуту я сделаю тебе больно, как там, в самом сокровенном уголке моего сердца, остро болит и у меня самого. Но я не имею права слушаться того голоса, который звучит в этом страждущем,

священном уголке, теперь я обязан слушаться только другого голоса. И я покорился ему, Китти... – он опять остановился: – Я еду на войну.

Как ни храбрился Юрий, как ни твердо и сознательно было его решение, но в эту минуту, вблизи горячо любимой девушки, с такой силой говорило в нем личное, эгоистичное чувство, такой болью сжималось сердце от сознания, что он сейчас нанесет страдания этой нежно любящей душе, что голос его дрогнул и сорвался.

– Нужно ли мне говорить, – снова начал он, – что нелегко далась мне эта труднейшая борьба, борьба с самим собой. Поддержи же и ты меня, протяни руку. Словом, пойми, как ты можешь и умеешь это делать.

Он крепко сжимал ее руку; глаза его пристально и просяще смотрели в глаза девушки.

На минуту дрогнуло ее счастливое, розовое личико; вся краска сбежала с него. Закрыв глаза, она как-то беспомощно поникла, ошеломленная неожиданным ударом. Да, удар был силен, очень силен.

Но недолго пробыла Китти под его гнетом. В душе девушки, наряду с так неожиданно навалившимся на нее горем, проснулось что-то светлое, большое и радостное.

Ну, конечно, иначе быть не могло, не мог иначе почувствовать и решить ее Юрий, не могла не рвануться туда его чуткая, благородная душа, не могла не заставить забыть самого себя, свое личное чувство. Ведь именно за то, что он такой, она так горячо его и любит!

В одно мгновение пронеслось это в мозгу, вернее, в сердце девушки. Она почувствовала, что к ее любви к жениху прибавилось новое чувство: восторга, благоговения перед великим духом его.

Снова открывшиеся глаза Китти светло и ясно смотрели на Юрия, обдавая его лучистым светом. Руки девушки обвили вокруг его шеи и, прильнув головкой к его груди, она глубоким голосом прошептала:

– Милый мой, милый! Какой же ты хороший, большой, сильный!

– Я знал, что моя Китти поймет и благословит меня, – ответил растроганный молодой человек.

Они молча сидели, переживая все только что высказанное, прислушиваясь к тому, что происходило в сердце каждого.

В соседней комнате слышались шаги и голоса.

– Кажется, папа с мамой идут, – проговорила Китти.

– Это кстати, надо обо всем рассказать им. Милые, как они обрадуются и... огорчатся, особенно мамой.

– А-а! Дорогой гость!.. Здравствуй, дружок, – ласково приветствовала Анна Николаевна молодого человека.

– Как же поживает татап? Все по-прежнему, бедняжка?

– Мерси, по-прежнему; ведь ее здоровье, или, вернее, нездоровье, на одной точке. Если нет ухудшения, мы уже говорим: слава Богу.

– Ну, что новенького да хорошенького скажешь нам, чем порадуешь? – в свою очередь облобызав молодого Муратова, спросил генерал.

– Новенькое у меня есть сегодня, такое большое и важное для меня. Им-то я и приехал поделиться с вами, – взволнованно начал Юрий. – Не судите меня слишком строго, если в такое тяжелое для России время я заговорю о личном деле, личном, эгоистичном чувстве, – продолжал он, – но у меня есть некоторое оправдание. Я хотел просить... Я хотел сказать вам... Впрочем, вы, вероятно, давно знаете и уже поняли, о чем хочу я говорить в эту минуту. Я люблю Китти, люблю всей душой, мы любим друг друга взаимно... Скажите, ведь вы согласитесь принять меня членом своей семьи, на которую я всегда, почти с тех пор, как начал помнить себя, смотрел как на родную, на всех вас, как на моих самых близких, самых дорогих...

Но Анна Николаевна не дала договорить взволнованному молодому человеку.

– Дружочек мой, ты знаешь, я давно искренне люблю тебя, ценю и верю. Тебе я не побоюсь вручить мою Китти, с тобой она не может быть несчастной. И я, и муж мы всегда желали и – что греха таить? – ждали, что, рано или поздно, ты заговоришь с нами об этом. Знаю, твоя мама тоже расположена к моей дочери. Христос же с вами! Пошли вам Господь всего, всего хорошего. Поди, деточка, – подозвала она Китти. – От всей-всей души поздравляю. Будьте счастливы, родные мои!

Одним общим объятием охватив голову дочери и Юрия, Троянова набожно трижды перекрестила каждого из них.

– Рад, рад, рад и я всей душой, дорогие мои, – в свою очередь обнимая и благословляя жениха с невестой, проговорил генерал. – Сын Николая Муратова не может не быть порядочным человеком и сделать жену свою несчастной. Совет да любовь!

В это время с шумом распахнулась дверь, и в гостиную с искрящимися глазами, розовая и улыбающаяся, влетела Женя. Следом за ней, тоже радостно улыбаясь, но более сдержанным шагом, появился Сережа.

Лишь на минуту забежав в спальню, чтобы пригладить волосы и сполоснуть липкие руки и губы, Женя примчалась к окну гостиной прямо от жаровен и тазов с вареньем, но увидев Юрия и Китти разговаривающими там в уголку с такими необыкновенными, еще никогда не виденными ею лицами, девочка поняла, что происходит нечто особенное, нечто «чудное-пречудное». Раз Юрий приехал, то уж наверняка все-все скажут папá и мамá, и в доме будет такая радость, такая радость!.. Ах, поскорей бы уж!..

И Женя, сознавая себя лишней, не замеченная разговаривающими, деликатно удалилась. Она стрелой понеслась сообщать о своих предположениях Сереже. Затем, когда в доме раздались голоса, явственно долетавшие до бродившей в нетерпеливом ожидании под окнами Жени, она поняла, что «это» сейчас совершится, что Юрий «скажет», и, охваченная страхом, как бы вдруг им с Сережей не пропустить этой «чудной» минуты, торопливо обежав кругом всего дома, сияющая, счастливая предвкушением чужого счастья, влетела в гостиную.

Неужели опоздала? Нет, нет, как раз вовремя: вот папá обнимает Юрия и Китти.

– Вот и хорошо! Ах, как хорошо! Как я рада! – уже громко воскликнула она, хлопая в ладоши и опять совсем по-детски, сперва присев на корточки, весело запрыгала.

– Вот кто недоволен, она не согласна на вашу помолвку, – указывая на Женю, смеясь, заметил генерал.

– Милые, душки, золотые вы мои! Наконец-то надумались! У меня уж терпения не хватало ждать. Ну как же я рада! Как это хорошо! Вот чудно!

– Ну-с, Юренька, – обратилась девочка к Муратову, – теперь уж я и вас чмокну. Да-с! Нынче вы больше не «Юрий Николаевич» и не «вы», теперь «ты» и «Юрчик».

Болтая так, девочка успела раз десять перевеситься с шеи сестры на шею ее жениха.

Юрий ласково поцеловал обе руки Жени, дружественно и сердечно обнялся с Сергеем.

– Я не все еще высказал, чем имею поделиться с вами, – снова заговорил молодой Муратов, когда несколько стихли первые бурные порывы чисто детского восторга Жени. – Мои дальнейшие новости не такие радостные, как первая. Я потому и просил не судить меня слишком строго за то, что в такое тяжелое время даю волю личной жизни, стремлюсь к осуществлению личной мечты, личного счастья. А время очень тяжелое: Наполеон уже в Вильне.

– Не может быть!

– Неужели? – раздалась пораженные возгласы.

– К несчастью, это – горькая истина, – грустно продолжал Муратов. – Он беспрепятственно вошел в этот город, где восторженно был встречен поляками, которые встали на его сторону. Наши войска отступают...

– Неужели? – раздалась пораженные возгласы.

– К несчастью, это – горькая истина, – грустно продолжал Муратов. – Он беспрепятственно вошел в этот город, где восторженно был встречен поляками, которые встали на его сторону. Наши войска отступают...

Эта тяжелая весть словно громом поразила присутствующих.

– Но почему отступают наши? Недостаточны стянутые к границе силы, чтобы идти в открытый бой с союзной армией? Или существуют к тому какие-нибудь особые соображения? – спросил Троянов.

– Право, ничего не могу вам ответить на этот вопрос. Вероятно, оба ваши предположения не лишены основания. Во всяком случае, люди там нужны, чем больше их будет, тем лучше. Я решил немедленно ехать в действующую армию, вот почему я и позволил себе сегодня заговорить о своих личных делах. Хочется, уезжая, увезти с собой в душе большую радость, чтобы черпать из нее силу и бодрость, если они почему-либо станут изменять.

– Как? Ты хочешь уехать теперь, сейчас? – взволнованно заговорила Анна Николаевна: – Боже мой, это так ужасно! А как оставишь ты свою больную маман? Как перенесет она этот удар? Как...

«Как ты расстанешься с Китти, как она, бедняжка, вынесет эту разлуку?» – хочется добавить женщине. Любящее материнское сердце, вопреки всем

другим соображениям, сжимается острой болью при мысли о том горе, которое нанесут ее девочке. Но она, не договорив вслух своей мысли, останавливает тревожный взгляд на лице дочери.

– А Китти-то, Китти-то как же? Что с ней будет? Как же вы ее оставите? Как она тут без вас жить будет?! – словно подслушав мысли матери, полным укора и негодования голосом бросает горячая Женья.

Оскорбленная за сестру, охваченная острой жалостью к ней за возмутительный, бесчеловечный, по ее мнению, поступок жениха, она любовно и тоскливо заглядывает в глаза Китти. Но и она, и Анна Николаевна поражены тем ясным, почти радостным выражением, которым светятся глаза девушки.

– Да, бедная маман, – весь уйдя в себя при напоминании о матери и, видимо, не расслышав хорошенько протеста Жени, задумчиво проговорил Юрий. – Как тяжело мне покидать ее, такую больную, такую несчастную. Как мертвенно побледнело ее прекрасное лицо, как задрожали тонкие, прозрачные руки, какие крупные, неудержимые слезы заструились по ее исхудалым щекам, когда я сказал о своем решении...

Юрий на минуту замолк, слишком взволнованный, чтобы продолжать.

– Но какая сильная душа, какое геройское мужество в этом слабом, хрупком теле. Ни единым словом не попыталась она удержать меня, поколебать моего решения. Она крепко прижала мою голову к своей груди, и мы долго-долго молчали... Только слезы все струились из ее глаз, я чувствовал, как они скатывались на мою шею. Мне так бесконечно было жаль ее, что, заикнись она только, захоти, заговори, и я, вероятно, остался бы. И она, действительно, заговорила... Она сказала, что, если бы был жив мой отец, то, конечно, не колеблясь, сам пошел бы туда, где нужны преданные люди, где нужна храбрость и самоотверженность. Но его нет, значит, мне, как старшему в семье, надлежит заменить отца, сделать то, что сделал бы он сам. Она сказала: «Иди, мой мальчик, не мне тебя удерживать. Пусть отец твой, так беспредельно любивший родину, оттуда, сверху, порадует на своего сына. В этом сознании буду и я черпать силы в своем одиночестве, буду горячо молиться и ждать...»

Взволнованный, Юрий умолк. Все, умиленные, глубоко растроганные, молчали.

По лицу Жени давно уже текли слезы, которые она машинально, не замечая, вытирала кулаками.

Сережа, сдвинув брови, сощурившись, стараясь спрятать глаза от чужого взгляда, сосредоточенно молчал; что-то особенное было на его еще безусом, почти детском лице.

Глаза Китти были влажны, в них мерцал мягкий, теплый свет.

Анна Николаевна, казалось, больше всех была поражена слышанным. Она тоже была мать, и у нее был любимый сын, и она горячо любила родину, потому-то никто так глубоко не оценил, не понял всю силу величайшей в мире жертвы, принесенной этой слабой, больной женщиной.

– Да, я узнаю Марию Львовну, эту героическую душу, эту жену-друга, которая, потеряв мужа, потрясенная горем, продолжала жить, чтобы поддерживать его традиции, воплощать в детях его идеалы, его стремления. Зато громадное, редкое счастье досталось ей на долю: увидеть, что труды ее не напрасны, что семена пали на богатую почву, дали пышный урожай; в глубоком горе разлуки вместе с тем есть величайшее нравственное торжество, – взволнованным голосом, с влажными глазами, проговорил генерал. – Бог не без милости, – она права. Господь велик в своем милосердии, а она более, чем кто-либо, заслуживает его. Иди же, Христос с тобой; исполняй свой долг и возвращайся счастливым и невредимым. Да и чего, в сущности, все кругом носы повесили? – меняя тон, продолжал Троянов. – Разве на войне каждого так вот сейчас либо убьют, либо по кусочкам распотрошат? Слава тебе Господи, достаточно повоевал я на своем веку, порошу вволюшку нанюхался, а и руки, и ноги – все полностью при мне остались: жена моя не вдова, дети не сироты, – уже совсем бодрым, веселым голосом закончил генерал.

– Боже мой, Боже мой, какие же все вы хорошие – и вы, и ваша чудная мама, и наш папа, и Китти, которая все время так ласково смотрит на вас, не плачет, не удерживает, не просит остаться... Я бы не могла... Я бы не пустила... я бы так... так пла...ка...ла...

Девочка действительно захлебнулась при этих словах.

– Юренька, миленький, родненький, только не позволяй себя убивать и ранить, ради Бога!.. Подумай, что с Китти... со всеми нами будет тогда! Милый, ради Бога!.. – и Женя, обливаясь слезами, охватила шею Юрия.

Молодой Муратов пробыл в Благодатном целый день, до самого вечера. Много о чем надо было переговорить им с Китти; столько хотелось высказать, излить душу перед несомненно долгой разлукой.

Не было шумных поздравлений, не поднимали бокалы с шампанским за жениха и невесту: над светлой радостью, влетевшей в этот дом, густой тенью простирались мрачные крылья нависшей темной тучи, реял печальный призрак близкой разлуки и туманный, жуткий своей неизвестностью, таинственный облик будущего. Слишком резко прозвучали бы шумные проявления веселья.

Совсем уже стемнело, когда лошади увезли Юрия домой.

На следующий день вся семья Трояновых с утра отправилась в Муратовку, чтобы провести последние часы с отъезжающим.

И здесь, как накануне в Благодатном, не было за обедом шумных поздравлений и тостов, и здесь радость и печаль так тесно сплелись между собой, что, приветствуя одну, страшно было тем самым оскорбить слившуюся с ней ее скорбную сестру.

Был отслужен напутственный молебен, прозвучали сердечные, глубоко прочувствованные пожелания, лились жаркие, обильные слезы.

– Бог сохрани и помоги вам! – обнимая Юрия, проговорил большой его приятель, Николай Михайлович, репетитор Трояновых. – Как глубоко я люблю вас, дорогой мой, и... как завидую вам!.. Счастливцев!.. А я связан по рукам и по ногам...

– До свидания, быть может, скорого, там, куда ты идешь. Но это пока между нами, – последним обнимая молодого Муратова, вымолвил старик Троянов. Когда коляска отъезжающего скрылась из глаз, когда замолк последний уловимый ухом стук колес и с ним прервалась внешняя связь между ушедшим из родного гнезда и оставшимися в нем, все геройское мужество, все усилия не дать воли своей тоске покинули бледную худую старушку, все продолжавшую смотреть в ту сторону, куда закатилось ее ясное солнце. Беззвучные, тяжелые рыдания потрясали ее еще стройную тонкую фигуру. Седая голова прильнула к белокурой головке рядом стоявшей девушки, тонкие руки обвили гибкий, молодой стан.

Обильные слезы струились и по лицу Китти, но в них не было острой горечи, сердце не сжимало никакое щемящее предчувствие.

– Мамочка, родная, милая! – целуя руки старушки, говорила она. – Мы вместе будем думать о нем, вместе вспоминать, вместе молиться и... ждать. Я верю, я так горячо верю, что Господь сохранит, возвратит его нам здоровым, счастливым, славным. Верю, что впереди счастье, большое, светлое.

Ясны были катящиеся по щекам девушки слезы, ясными даже сквозь них оставались глаза, и такая глубокая вера звучала в ее голосе, что и старушке верилось, так хотелось верить в близкий счастливый и желанный конец.

ГЛАВА 4

Проходили дни, принося с собой невеселые вести. Все глубже внедрялись в русские пределы наполеоновские войска. Сам он, этот непобедимый до сих пор баловень судьбы, ослепленный гордыней, стремился к достижению своей заветнейшей мечты, утолению своего ненасытного честолюбия завладеть Москвой, сердцем России. И темная вражеская громада углублялась к центру страны, по стопам безмолвно, без грохота пушек и ружей, отступавших русских. Но это безмолвие было грозной тишиной, предшественницей стихийной бури.

Наполеон забыл, что нельзя прикоснуться к сердцу без того, чтобы не содрогнулся весь организм, не задрожал малейший нерв его, нельзя взбаламутить глубину, чтобы не забурлила, не взволновалась поверхность ее. И всколыхнулся могучий океан, взволновался весь, до спокойных в обычное время глубин своих, чтобы ринуться грозным потоком, захлестнуть со всех сторон, поглотить, растворить в себе разлившуюся по чужому руслу пришлую, бурливую, мятежную реку. Вся страна, как один человек, готова была стать грудью на защиту родины.

Вслед за единичными первыми ласточками, как Юрий, взвились тысячи молодых сильных крыльев, встрепенулись и былые старики-орлы.

С каждым днем число добровольцев разрасталось. Знатная молодежь, дворяне и мещане – все брались за оружие. Разговоры, пересуды, вести о войне проникали в самые тихие и безмятежные уголки, равно волнуя сердце помещика и крепостного крестьянина, ребенка и старика.

Происходившие в России события не могли не отразиться на обитателях Благодатного и черной нитью вплелись в их дотоле безмятежное существование.

Примолк прежний, часто беспричинный, искренний смех, оглашавший темные аллеи и светлые уютные комнаты. Встревоженная, вспорхнула, притаилась в каком-то укромном уголке радость.

Вслед за первой печалью, отъездом Юрия, надвигалась новая: близкая разлука с главой семьи.

Лишь только немного выяснилось настоящее положение дел, получены были сведения и ответы на заданные разным лицам письменные вопросы, сейчас же, будто сам собой, просто и естественно, решен был отъезд Троянова. Никому не пришло в голову останавливать или отговаривать его. Всех глубоко огорчала предстоящая разлука, но отъезд этот казался неизбежным, как бы вытекающим из предыдущей жизни Троянова, его характера и душевного склада. Мог ли нестарый, железного здоровья, закаленный, испытанный боевой генерал сидеть в своем мирном Благодатном, наслаждаться счастливой семейной жизнью, когда лилась русская кровь, когда с ужасающей быстротой подступали к дорогому сердцу России сотни тысяч штыков и дул, целящихся в него, когда нужны были преданные, опытные, сильные телом и духом люди?

Не в одних только приготовлениях к отъезду генерала выразался отблеск войны на жизни Благодатного. От господских покоев до девичьей, заваленной горами холста, до кухни, конюшни – всюду шли толки о «проклятых басурманах», об «антихристе Наполеоне», об огненном змие, на котором носится он ночью по небу, с пылающим мечом в одной руке и огненными стрелами в другой. Бабы пугали ребятишек Наполеоном, этим «сатанинским отродьем», и те, пробуждаясь ночью, орали спросонья благим матом при виде поддевки или сарафана, висящего на стене.

События отразились даже на детских играх: детвора под предводительством Бориса, с его сподвижником и незаменимой правой рукой – Степкой, играла в войну.

При первом призыве к мобилизации добровольцев находилось множество, но лишь только начиналась дележка войск на «французов» и «русских» – вражеские ряды начинали редеть; горящим жаждой подвигов и схваток «русским» грозило воевать с пустым пространством: никто ни за что, даже в игре, не соглашался быть проклятым басурманчиком.

Тогда оба главнокомандующие, Борис и Степка, прибежали сперва к убедительным словам, а в случае не успеха – к насилию, энергичными, порой очень крутыми мерами «офранцузивая» ярых русаков.

– Ну, Мишка, не дури, чего там! Ведь игра, не взаправду ж французом станешь, так только, – вразумлял авторитетно Степка.

– Не хочу французом, – протестовал непокорный.

– Заладил: не хочу да не хочу! Мало ли чего «не хочу», а надо. Сегодня ты француз, завтра – я, так и станем чередоваться.

– Толкуй тоже, «чередоваться», – недоверчиво возражают голоса. – Сам-то все норовишь нашим быть, да еще енералом! Намеднись Барклаем, вчерась – Детолем. А мы с Митюхой, – либо Вдаву, либо Ноя[9] представляем!

– Ну, полно языком-то болтать. Сказано, и конец! Эй, стройся, французы Мишка, Ванька, Митюха, Сонька, Груша, Миколай! Дунька! Ну-у! Марш по местам, а то я ва-ам!

Следует такой красноречивый жест, а порой в задаток будущих благ дается такой пинок, что благоразумие заставляет соглашаться без дальнейших колебаний.

Неприятельские войска пополняются преимущественно девчонками и малышами вообще.

Таким образом, еще до начала военных действий русские по силе вдвое, даже втрое превосходят своих крошечных, тщедушных, запуганных врагов; когда же разражается битва, страсти разгораются. Русские, более рослые мальчуганы, любимцы и всегдашние сотоварищи Бори, подзадориваемые его лихой командой: «Бей басурманов! Насмерть бей! Топчи! Коли! Руби! Режь!..» – входят в неопикуемый азарт.

У едва живых от ужаса, перетрусивших «басурман» воображение тоже разыгрывается: им чудится, что их на самом деле сейчас начнут колоть, рубить и резать на куски. С отчаянным воплем несчастные спешат укрыться от грозного неприятеля в первый укромный уголок.

Но враг беспощаден. «Ко-оли!..» – несется еще команда Бори. Палки победителей с размаху вонзаются в живот, спину и грудь побежденных. Неистовый рев оглашает двор.

– Сумасшедшие, гадкие мальчишки! – вдруг раздается голос Жени.

Красная и взволнованная, она вихрем летит на помощь несчастным ребятишкам.

– Сейчас же уходи домой, слышишь, Борька?

Толчком в спину девочка отбрасывает победителя от его злополучной жертвы.

– Когда они французы, – смущенно оправдывается братишка, – а мы русские, вот мы их...

– То-то «мы их», – передразнивает Женя. – Вот погоди, сейчас я вас... Ну, иди, и ты, Степка, вон! Не стыдно? Большие мальчишки маленьких обижают. Ступай в комнаты! А ты – марш в людскую! Подожди, натаскает тебе дедушка уши, уж я скажу ему, – грозит Женя «Детолю».

Кулаком левой руки подталкивая в спину Борю-«Багратиона», она в то же время правой бережно ведет горько плачущую малышку Грушу, вечного козла отпущения в детских схватках.

– Не плачь, не плачь, я тебе сейчас пирожное дам, большо-о-ое! Во какое! И еще булки с маслом. Хочешь?

Слезы моментально высыхают, и радостное «хочу» вылетает из еще нервно подергивающихся губ.

– Это, изволите ли видеть, «француз». Вон как эти гадкие мальчишки ее отделали! – войдя в столовую, негодуя открывает душу Женя попавшемуся ей навстречу Сереже.

– А ты уж сейчас и передалась на сторону француза и оттузила русских победителей. Одно слово – басурманка, самая настоящая басурманка! – говорит он.

В глазах юноши светятся хорошо знакомые Жене плутоватые огоньки, загорающиеся всякий раз, когда он принимается дразнить кого-нибудь. Но в эту минуту девочка слишком взволнована, чтобы приглядываться к Сергею; она только слышит слова, не видя выражения лица.

Если бы Сережа мог предвидеть, какое впечатление произведет его необдуманная, но добродушная, как всегда, шутка!

Женя остановилась, точно вкопанная. Ее за секунду перед тем пылавшее личико сделалось мертвенно бледным – кровь вся, до последней капли, отхлынула от него. Обычно ясные искрящиеся глазки сразу потухли, стали громадными, тусклыми; что-то недетское, темное, испуганное и скорбное застыло в них. Трудно было в этом искаженном лице узнать смеющуюся, жизнерадостную мордашку Жени.

При этих словах еще шире раскрылись, еще темнее стали глаза Жени.

– Стыдно!.. Грешно!.. Даже шутить так грешно!.. И в такое время! – она с трудом перевела дух. – Знай, если... ты еще раз повторишь это, я... я пойду и утоплюсь в нашем большом пруду...

При этих словах еще шире раскрылись, еще темнее стали глаза девочки. С трудом можно было поверить, что это ее звонкий, как колокольчик, чистенький голосок, – так глухо и безжизненно прозвучала последняя фраза.

Забыв про ничего не понимавшую Грушу, с удивлением и любопытством тараторившую на нее глазенки, забыв все свои щедрые обещания, Женя, всхлипывая и вздрагивая тонкими плечиками, горько-горько рыдала.

Сережа испугался выражения глаз, голоса девочки, а при виде ее слез растерялся совершенно. Он не мог простить себе своей глупой, неделикатной шутки. Как могла такая жестокая фраза сорваться с его уст?! Ведь он хотел только пошутить, подразнить, и вдруг!..

Так грубо и резко дать почувствовать этой дорогой, так горячо любимой им Жене, что она чужая, не только в их семье, но даже в России! Так обидеть ту, на которую он всегда смотрел как на родную и любил чуть ли не больше Китти! Да разве он хотел намекнуть на это? Он сперва даже сам не понял, что сказал; только эти страшные глаза, этот ужасный, мертвый голос заставили его вникнуть, вдуматься и ужаснуться того, как поняла, что должна была почувствовать девочка.

– Женечка, родная! Моя самая родная, самая любимая во всем мире! Жучок мой ненаглядный!

Не плачь, ради Бога, не плачь! Я сказал глупость, такую глупость! Я не подумал, что можно так понять, так объяснить мои слова, как это сделала ты. Жучок мой золотой! Мой славненький, блестящий Жучок! Ну, не плачь, улыбнись. Посмотри на меня...

Доброе сердце Сережи разрывалось на части при виде горя девочки от тяжелой обиды, им самим же нанесенной ей.

Доброе сердце Сережи разрывалось на части при виде горя девочки от тяжелой обиды, им самим же нанесенной ей.

Так ласково и искренне звучал голос Сергея, что Женя не могла не почувствовать, как больно ему самому, как жалеет он о происшедшем.

Но если он только жалеет о сказанном, ей мало этого; она должна увидеть, почувствовать, что он действительно сам не понял, что сказал.

Девочка поворачивает к нему свое лицо, все еще залитое слезами, но уже не такое страшное.

– Правда?.. Правда? Ты не думал, не хотел сказать того?.. – Женя не находит подходящего слова. – Правда?.. Побожись...

Взгляд ее пристально, настойчиво устремлен в глаза Сережи.

Нет, они не лгут, не могут лгать. Жене даже кажется, что они мокрые.

– Ей-же Богу, Жучок, правда, как маму люблю, как тебя люблю!.. – дает мальчик самую для него убедительную и неопровержимую клятву.

Но Женя и так уже поверила, почувствовала правду в ту самую минуту, когда увидела, что в глазах Сергея блестит что-то влажное.

– Не сердись больше? Веришь? Мир? Да?..

В ответ ему уже сверкают белые зубки, золотые искорки снова зажигаются в глазах девочки. Вдруг опять, словно черная тень, проходит в них.

– Боже, как я ненавижу их! Понимаешь?.. – что-то глухое и мрачное снова зазвучало в голосе. – Знаешь, – подумав мгновение, страстно заговорила она, – если бы на меня напали французы, хотели бы убить меня, и для того, чтобы спастись, нужно было бы только признаться, что я... тоже француженка... Никогда, ни за что бы я этого не сделала! Лучше умереть, но... русской... Я так люблю всех вас... – совсем другим, нежным голосом закончила Женя и порывисто обхватила черную курчавую голову юноши.

– А про тебя-то я и забыла! Ах ты, карапуз ты мой несчастный! – вернувшись к действительной жизни и заметив Грушу, спохватилась Женя. – Ну постой, за свое терпение получишь не один, а два пирога и во-о-о каких, – чуть не на пол-аршина[10] отставив указательные пальцы обеих рук, наглядно пояснила она и потащила ребенка к заповедному шкафу со всякими вкусностями.

Китти, верная обещанию, данному матери Юрия в день его отъезда, постоянно навещала старушку.

Тихие, почти счастливые часы проводили вместе молодая девушка и пожилая, разбитая потерями и недугами женщина. Сколько было у них общего, как созвучно порой бились и сжимались их сердца! Задушевные беседы лились, лились без конца.

Ярким лучом являлась девушка в муратовском доме, освещая и согревая печальные, одинокие дни старушки. Вместе с тем эти милые стены, где все полно было им, теперь далеким, но таким близким, дорогим ей Юрием, были для самой Китти неисчерпаемым источником тихой радости. Она уходила из

Муратовки с отрадой в сердце, ясной, глубокой верой в светлое будущее, которая все время не покидала ее.

Иногда и Троянов сопровождал дочь, чтобы проведать жену своего покойного друга, которую любил и уважал всей душой.

Наведывалась и Анна Николаевна, слишком хорошо понимавшая, что должно было происходить в за таенной глубине этого любящего материнского сердца.

Каким светлым праздником стал для Китти и старушки Муратовой тот счастливый день, когда было получено письмо от Юрия! Ведь это не слух, не изустная весть, не утешение, созданное надеждой и верой в милосердие Божие. Этот белый листок – ведь это живое существо, так много говорящее. По нему водила рука Юрия, здорового, бодрого, почти радостного. В каждой строке сквозила его душа, его честное, горячее сердце, его благородные порывы.

Юрий уезжал, снабженный письмом от матери к генералу Дохтурову, одному из ближайших друзей покойного Муратова. Прямо к нему и отправился молодой человек.

Теперь Юрий описывал, как сердечно встретил его генерал, сколько выказал тепла и чисто родительского попечения. Говорил, что ему пришлось участвовать уже в двух-трех небольших стычках, но что он цел и невредим. Тут же были приписаны несколько строк самим Дохтуровым.

«Благодарю Вас от всего сердца за драгоценную посылку – вашего сына и от души поздравляю Вас, как мать. Не многим Господь посылает в удел такое сокровище», – говорилось в письме.

В ту ночь, когда весь дом давно уже спал, в комнате Жени и Китти перед большим киотом[11] с горящей голубой лампадкой можно было долго наблюдать коленапреклоненную фигуру белокурой девушки. Такая светлая радость, такая горячая благодарность, такая детская ясная вера светились в ее чудных глазах, что вся она, в длинной белой ночной рубашке, с полураспустившимися белокурыми волосами, трогательная в своем высоком порыве, казалась воплощением молитвенного вдохновения. Она горячо благодарила Бога за посланную ей сегодня великую радость, молила спасти и сохранить другое близкое существо – горячо любимого отца, который на следующий день должен был уехать.

Последние несколько дней, которые предшествовали отъезду Владимира Петровича, Сережа был как-то необыкновенно печален. Конечно, невеселое настроение царило и во всем доме, но подобная грусть, озабоченность и задумчивость со стороны веселого, всегда жизнерадостного юноши являлась делом столь непривычным, что невольно останавливала на себе внимание.

Даже радостное известие, привезенное сестрой, что от Юрия было письмо, что он жив, здоров, что ему удалось принять участие в двух небольших сражениях, лестный отзыв о нем старика Дохтурова – даже эти сведения о любимом друге не согнали озабоченного выражения с лица Сережи, наоборот, оно могло показаться даже еще более хмурым.

– Что с тобой, Сережа? – задавали ему почти каждый день один и тот же вопрос.

– Ничего, так, – неопределенно и неизменно отвечал он.

«По отцу, бедняжка, тоскует», – решили мать и Китти. Тронутые таким глубоким чувством со стороны мальчика, они особенно бережно обращались с ним.

Только Женя пристально и подозрительно присматривалась к своему любимцу. Одна она видела, что в нем происходит нечто особенное.

– Сережа, ты что-то затеял? – ребром поставила она вопрос. – Правда, я же вижу. Что-нибудь да засело у тебя в голове... Что, Сергуля, что, милый, скажи? Ведь мне все можно сказать.

– Вот выдумала! – недовольно запротестовал тот. – Ничего! Просто мне грустно!

– Грустно? Всем грустно, не тебе одному, однако ни у кого нет такой глупой физиономии, как у тебя. Я прекрасно тебя знаю и вижу, что ты выдумал какую-то глупость. Непременно глупость, иначе бы ты от меня не скрывал! – уже недовольная, несколько повысив тон, продолжала Женя.

– Глупости! Много ты понимаешь! – вдруг вспыхнул Сережа. – Да что с тебя взять, с девчонки!

– Ага! Не «глупость», значит, «умность». Вот я и права, что-то да сидит у тебя в голове! – на сей раз ничуть не обидевшись за пренебрежительный тон последней фразы, оживилась Женя. – Ну скажи, Сережка, скажи, миленький! Но у того, видимо, что называется, кошки на душе скребли, и Женя своими расспросами бередила больное место.

– Отстань ты от меня, несносная девчонка! Это бабье как пристанет, так отбою от него нет.

Женя вспыхнула и, надув губы, обиженно вышла из комнаты.

После ужина, этого последнего ужина, что семья проводила в полном сборе, все, не расходясь, остались в столовой.

Сережа долго взволнованно и сосредоточенно ходил из угла в угол. Несколько раз он останавливался, поглядывая поочередно на отца и на мать, словно собираясь заговорить. Но не решаясь вымолвить того, что просилось с его языка, он продолжал свою нервную прогулку.

Женя все время настойчиво следила за ним глазами, сама взволнованная, удрученная неизвестностью и каким-то тревожным ожиданием.

Наконец, когда все поднялись, собираясь пожелать друг другу покойной ночи, Сережа вдруг решительно подошел к отцу и матери, стоявшим рядом, и взволнованно начал:

– Мамочка! Папа! У меня есть очень важное и серьезное дело. Мне надо поговорить с вами. Обещайте, ради Бога, обещайте, что вы исполните! Ну, дайте слово! Если вы меня хоть немножко любите... Обещайте, позвольте, иначе... я буду страшно, то есть страшно несчастен...

Его голос оборвался от волнения.

– Но в чем же дело, мой мальчик? Ты скажи... – несколько встревоженная расстроенным видом, дрожащим голосом и неподдельным огорчением,

прозвучавшим в последней фразе сына, допытывалась Анна Николаевна. – Ты ведь знаешь, и я, и отец в пределах возможного стараемся никогда не перечить, не противиться вашим желаниям. Но обещать, не зная, о чем идет речь, согласишься, это немыслимо! Мало ли что может взбрести в твою горячую голову, – ласково проводя рукой по густой шапке его черных завитков, уже улыбаясь, закончила Троянова.

– Ты едешь завтра, папá, умоляю, возьми меня с собой! – не переводя духа, выпалил Сергей всё угнетавшее и так сильно волновавшее его последние дни.

– Вот она глупость! Вот! Я говорила! Я знала, что этот сумасшедший мальчишка что-то задумал!.. – вся красная и дрожащая от волнения, выкрикнула Женя, едва признание сорвалось с языка Сережи. – Только тебя там не хватало, – продолжала она. Да еще Степки да Бори. И соску, и нагрудник, и няню – все с собой возьмите, герои!..

– Вот она глупость! Вот! Я говорила! Я знала, что этот сумасшедший мальчишка что-то задумал!.. – вся красная и дрожащая от волнения, выкрикнула Женя, едва признание сорвалось с языка Сережи. – Только тебя там не хватало, – продолжала она. Да еще Степки да Бори. И соску, и нагрудник, и няню – все с собой возьмите, герои!..

Но вместо иронии, которую Женя хотела вложить в свои слова, в них прозвучали слезы, которые девочка торопливо смахивала с ресниц.

Ее вспышка дала всем прочим членам семьи возможность несколько оправиться и прийти в себя.

– Сережа, ты просишь невозможного... – начала было Анна Николаевна, но сын перебил ее.

– Невозможного?.. Но почему?.. Почему все находили это возможным, хорошим, даже нужным, когда так решил Юрий? И почему это глупо и невозможно, когда говорю я? – горячился Сергей.

– Не забывай, что Юрий на целых четыре года старше тебя, – начала свое возражение Троянова. – Подумай, Сережа, ведь тебе всего семнадцать лет, ты же, в сущности, еще ребенок, мальчик. Тебе надо серьезно заниматься с Николаем Михайловичем, готовиться в университет...

– А Юрий не студент разве? И все-таки он бросил все и пошел... – снова перебил Сергей.

– Наконец, Сережа, подумай же о нас, обо мне, о сестрах... Отец уезжает, с кем мы останемся? Что мы будем чувствовать, как страдать? Как волноваться? Не ужели мы ничего для тебя не составляем?.. – теперь уже дрогнул и оборвался голос Анны Николаевны.

– Мамочка, милая, Господь с тобой, что ты говоришь!.. – так весь и рванулся к ней Сережа.

– Ведь и у Юрия есть мать, больная мать, и у него сестра, у них даже вовсе нет отца... И все-таки... – через минуту, снова возвращаясь к поглотившей его мысли, продолжал юноша.

– Да, Сергей, ты правильно заметил: у них нет отца. Здесь и кроется вся существенная разница между его и твоим положением, – раздался твердый, спокойный голос Троянова, молчавшего до сих пор. – Положение Юрия гораздо сложнее, ответственнее твоего. Он в семье единственный мужчина, потому на нем сосредоточены обязанности и сына, и заместителя отца. Он, как сын героя Муратова, не мог не рвануться на зов родины в такую тяжелую минуту. Будь жив отец, этот долг выполнил бы он сам. С другой стороны, любовь к сестре и матери приковывала его к семье. Но где он был нужнее? Где необходимее? В семье или на войне? Он был нужнее там, и он пошел. Но у тебя есть отец, есть человек, который откликнется на зов родины, а твоя обязанность, твой долг, долг сына, остаться около матери, возле сестер, заменить меня, беречь, холить их, чтобы я там мог быть спокоен, зная, что они под надежной защитой, под охраной моего сына.

Убедительный тон отца действовал на Сергея. Своей последней фразой, выказанным ему, как взрослому, доверием, он польстил самолюбию юноши, но горячее стремление пойти на войну, жажда подвига, жертвы, быть может, славы так завладели им, так живы были в его сердце, что мысль о крушении этих надежд была Сереже не под силу.

– Все, все идут, всем можно, только меня как маленького... как девчонку... держат!.. – запальчиво воскликнул он.

И в доказательство того, что он мужчина и взрослый, Сергей, не выдержав, совсем по-детски всхлипывая, горько заплакал.

– Слушай, Сергей, – прощаясь на другой день с сыном, начал Троянов. – Вчера при матери я не хотел говорить: ты был так взволнован, что мог в запальчивости сказать лишнее и задеть ее материнское чувство. Подумал ли ты о том, что теперь у нее на сердце? Ведь она всегда молчит, никогда не жалуется, ровна и спокойна на вид – вот и Китти такая же, но вдумался ли ты, что она переживает? Ежеминутно дрожит за Юрия, за Китти, за ее тревоги. А если шальная пуля убьет, искалечит его? Ведь мы с тобой не дети, мы взрослые и мужчины, надо же иметь храбрость смело смотреть в глаза обстоятельствам. Ведь это война. Один миг – и жизни, сотен, тысяч жизней не станет. И вот неустанно думать: не сейчас ли, не в эту ли секунду наступает или настал уже этот страшный миг? Теперь ухожу я... Что переживает она?.. И вдруг еще ты... Это было бы жестоко и бессмысленно. Крайности пока нет. Но если, спаси и сохрани Господь, настала бы такая страшная пора, что всякий без исключения должен был бы взять оружие и встать на защиту страны, – тогда бери и ступай, я не удержу сына в такую минуту. Помни! Но пока еще рано...

ГЛАВА 5

Совсем затихло Благодатное. От Троянова и с пути, и по прибытии на место приходили сравнительно частые вести. Сам генерал был, правда, жив и здоров, но какие печальные новости о ходе войны приносили его письма!

Один за другим были Наполеоном заняты Полоцк, Минск, Витебск и Могилев. Русские армии уже отступили к Смоленску.

По мере приближения наших войск к Москве все чаще, все подробнее становились вести, достигавшие Благодатного. Долетали имена героев, доходили фамилии убитых и раненых. Известия о смерти, связанные с близкими, дорогими именами, проникали в помещичьи хоромы, в дворовые флигели, в крестьянские избы. Теперь охватившее страну бедствие не представлялось, как вначале, чем-то хотя и страшным, но туманным, бесформенным. Теперь при известиях о сражениях и их жертвах рисовались яркие картины пролитой крови, фигуры дорогих, знакомых людей, распростертых на земле, убитых и раненых. Как живые, вставали они перед глазами рыдающих матерей, жен, ребятишек, братьев, отцов и дедов. И жгучая ненависть загоралась в сердцах, жажда мести и подвига.

Пасмурный и грустный, ходил Сережа с момента отъезда отца. Женя не спускала с него тревожного, любящего взгляда. Как хорошо она понимала, что происходило у него на душе. Разве могло быть иначе? Разве и тогда вечером, когда Сережа заговорил с отцом и матерью об отъезде, разве не понимала, бессознательно не чувствовала она того, что творилось в нем? Сразиться, перекрошить этих ненавистных, проклятых французов, запугать, выгнать их – о, какое это счастье! Еще бы Сережа не рвался туда!..

«Но нет, нет, это невозможно, – дальше несется мысль девочки. – Вздор!.. Глупости!.. Сережа?.. А если его ранят? Только ранят, даже немножко?.. А вдруг убьют?.. Ни за что, ни за что! Только не его, только не Сережу!»

Женя покорно сносит проявления его удрученного настроения, резкие слова, порой окрики.

Пусть, пусть! Ведь ему, бедному, так тяжело! Она все-все вытерпит, все сделает для Сережи, только... только не поможет ему в том главном, что, единственное, может утешить его. О, это нет! Если бы она увидела, если бы ей только показалось, что Сережа хочет потихоньку убежать из дому, она первая всем бы сказала, всех бы на ноги поставила.

Эта мысль сильно тревожит девочку. Ночью она иногда просыпается, охваченная ужасом: вдруг в эту самую минуту Сережа собирается бежать? Она чутко прислушивается, не скрипнет ли где дверь, не стукнет ли окно, не повернется ли ключ в замке. Но все тихо в большом дремлющем доме, только ее собственное сердце стучит так громко и порывисто...

Лишь на раскинутой перед домом зеленой лужайке да во дворе и в некоторых излюбленных уголках большого сада еще царит временами оживление, звучат бойкие голоса.

Не унывает Боря со своим верноподданным, а порой и командиром Степкой. Игра в войну ведется по-прежнему. Защищают то Витебск, то Полоцк; один раз усердно отбивали от неприятеля даже Киев, а другой раз Петербург. Мудрено ли, что кровопролитие было громадное? Сын птичницы Митька, например, не досчитался трех зубов, приступом выбитых «Детолем». Правда, зубы и так уже пошатывались, но все еще могли служить службу, особенно в такое время, как сейчас, когда в огороде поспели яблоки, репа и горох. Но неумолимый враг принес их в жертву славе русского оружия.

Боря-«Багратион», со свойственной ему горячностью, сгрудившись с Васюком-«Вдаву», ударил в «центр» неприятеля, отчего из носа французского маршала кровь брызнула фонтаном на руку растерявшегося русского главнокомандующего.

Но не одно это занимало Бориса и Степку. С некоторых пор они вполголоса вели какие-то таинственные беседы, часто забирались в разные сарайчики и стоявшие без употребления кладовки, шныряли мимо буфетной, кухни и официантской, неизменно, как ошпаренные, отскакивая при чьем-либо приближении, после чего тотчас же старались принять развязный, непринужденный вид.

Однажды, зайдя в детскую, Женя застала Борю мастерящим что-то пальцем, просунутым сквозь окно большого деревянного дома-игрушки, последнее время пользовавшегося его особым расположением.

Первым побуждением мальчика было вытащить палец, но, подумав секунду, он, весело глядя в лицо сестре, продолжал двигать рукой, производя шум внутри дома.

– Слышишь? – таинственно произнес он.

– Слышу, но ничего не понимаю, – ответила Женя.

– А хочешь знать? Очень?

– Ну, хочу.

– Только никому не скажешь? Побожись!

– Не скажу, ей-Богу не скажу.

С еще более таинственным видом Борис приподнял крышку дома и торжествующе ткнул туда пальцем.

– Видишь сколько?

– Сахар!.. Это зачем? – недоумевая спросила Женя.

– Это для солдатиков. Для наших. Все мы со Степкой собрали. Я теперь чай без сахару пью и молоко тоже, а сахар сюда.

– А Степка где берет?

– Я для него каждый день утром и вечером по два куска у Анфисы из-под подушки таскаю. Прежде он ел его, а теперь не смеет, все на раненых отдает. Вишь, сколько собрали. Правда, много?

– Славный ты мой Борька, вот молодчина! – Женя горячо поцеловала мальчугана в лоб. – Что выдумали! И ведь никто не советовал, сами догадались, – одобрила девочка. – И Степка, говоришь, честно отдает, сам не ест?

– Все до крошечки, – с гордостью подтвердил мальчуган, счастливый похвалой Жени, мнение которой очень ценил.

– С сегодняшнего вечера можете мой сахар тоже брать, – заявила она.

– Как? Правда? – зарделся от радости мальчуган. – Ведь ты всегда такой сладкий чай пьешь, меньше четырех кусков не кладешь! – усомнился Боря. – «Миска» бранится, а тебе все не сладко.

– Ну, это уж не твое дело. Коли вы, малыши, отказать себе сумели, так мне и сам Бог велел попоститься. А что я много кусков кладу – ваше счастье, вам больше достанется, все целиком и заберете.

– Молодчина Женя! Вот хорошо! – захлебнулся от восторга мальчик. – Теперь мы сто пудов соберем и пошлем царю для солдатиков.

– Столько не соберете, где там! Это больше чем сто таких полных домов.

– Соберем, вот увидишь, соберем и не сто, а тысячу пудов, – расхвастался Боря. – Целый воз отправим, вот царь обрадуется!

Нечего говорить, что о Женином пожертвовании сейчас же был поставлен в известность Степа.

После первых выражений радости последовало продолжительное совещание, на котором единогласно обоими мальчиками было решено, что ограничиться одним сахаром недостаточно, необходимо послать «всего».

– Тоже ведь, не поемши хорошенько, на пустой-то живот не больно насахаришься, – глубокомысленно заявил Степка.

Постановили откладывать хлеб, мясо, булки, пироги, пирожные и тому подобное.

– Ну, а трубочки с кремом и маринованные вишни тоже посылать будем? – робко и нерешительно осведомился Борис.

Его обычная щедрость запнулась об эти излюбленнейшие вещи, из которых вдобавок маринаду на долю детей отпускалась очень маленькая порция, так как и мисс, и мамá находили, что уксус вреден.

– Известно, будем! С чего ж бы вдруг да не послать? – вопросом на вопрос ответил Степка.

– Да, видишь ли, трубочки нежные очень, могут раздавиться в дороге, – неуверенно кривит душой Борис.

– Скажет тоже, «раздавиться могут»! Велика беда! Пущай себе на здоровье давятся: все одно, они мягкие, а скус тот самый, хошь давленные, хошь нет, – безжалостно опровергает Степа.

– Не, а вишни? – как за спасительную соломинку, цепляется за последнюю надежду его собеседник. – Они ведь кислые. Может, их солдаты не любят?

– Не любят! – передразнивает неумолимый Степа. – А с чего ж им не любить-то их? Аль ты думаешь, коли солдат, так и языка у него нет? Сеньку-казачка, поди, помнишь? Что потом в солдаты сдали? Вот вишни-то эти самые любит! Пропадом за ними пропадаю. Как со стола собирает, рот полный набьет, да в карман горсть целую, бывало, запихнет. А он теперича тоже солдат, так, думаешь, вишен-то больше и не любит? Да нешто он один, мало ли их там таких!

Безжалостно отнята последняя зацепочка. Борис, подавив вздох, соглашается с убедительным доводом товарища.

Начиная со следующего дня, мальчик поражает всех своим аппетитом. Громадные порции по два, иногда по три раза возобновляемые на его тарелке, исчезают бесследно. Сперва это приводит мать и гувернантку в восхищение, затем в некоторое беспокойство. Но так как дни проходят за

днями, не принося ущерба здоровью ребенка, к его прожорливости начинают привыкать, и она уже никого не тревожит.

Последнее время особой любовью и заботой среди игрушек пользуется не один деревянный дом с разборной крышей, но и стоящие в детской большие сани с красной бархатной полостью. Правда, с ними не играют, однако, несколько раз в день около них происходит какая-то возня: полость то отстегивают, то застегивают, то смахивают с нее неизвестно откуда появившиеся крошки и какие-то кусочки; наконец, сани задвигают в самый темный и недоступный угол детской – между стеной и кроватью.

После пяти-шести дней их пребывания там на лице няни Василисы обнаруживаются явные признаки неудовольствия.

– Чтой-то будто дух здесь тяжелый какой? Кислей[12] будто отдает? – недоумеваает она, усиленно работая ноздрями. – Ужо я сама все углы перетру, не иначе как негодница Аришка грязь там развела. Ей, ветрогонке, что за горюшко, коли дитю под самый нос смрад идет. Уж задам я ей, давно до нее добираюсь! – ворчит старуха.

А «дите» в это время, красное, как пион, низко наклонив голову, усиленно натягивало и без того уже плотно надетый няней чулок и думало: «Все вишни! Не надо было Степку слушать, от них и кислятина».

С чулками наконец покончено, теперь няня собирается надевать на Борю костюм.

– Чтой-то, батюшка, штанишки твои какие замурзанные? Вчера только во все чистенькое тебя обрядила, курточка еще ничего, а панталонишки-то как отделал! И чего это ты в карманы понаклат? Аж наскрозь просуслил...

Василиса засунула руку в карман штанишек.

– У-у-у-у, озорник! Будто маленький! Пятна-то, пятна какие! И засалено, и послиплось все вместе. Уж я не впервой примечаю. Гляди, мамаше пожалуюсь, будешь без сладкого, – пригрозила старуха.

– Нянечка, не сердись, я нечаянно, право. Упало с тарелки и насквозь, совсем насквозь... Суп и... и компот! – на ходу изобретает Боря. – Прямо на карман! Я, право, нечаянно...

– То-то нечаянно! А ты смотри! Вишь, глазищи-то какие – по ложке, а не видят ни плоски, – уже добродушно заканчивает старушка.

В этот же день и санки, и дом благоразумно исчезли из детской, причем до того момента, когда Василиса собралась провести ревизию всех углов. Оба таинственных предмета были помещены в самом конце коридора – в стоявшей без употребления пустой кладовке.

По странному стечению обстоятельств, почти с того самого дня, в свободные от сидения на цепи часы, беломордый громадный Барбос и худощавая, обремененная многочисленным семейством, шоколадного цвета собака Диана сделались постоянными посетителями коридора. Его притягательная сила была сильнее летевших в адрес собак окриков, угроз, иногда пинков. Кто бы ни проходил мимо заветной дверцы, всякий мог быть уверен, что повстречается с приниженной фигурой Дианки и заискивающим, виновато поджавшим уши и хвост Барбосом.

Было воскресенье. На паперти деревянной церкви стояло все семейство Трояновых, по обыкновению, не пропускавшее ни одной праздничной службы.

Белые платья Жени и Китти выделялись среди пестрой толпы баб и ребятишек, со всех сторон обступивших их.

– Так я, татап, отправлюсь, – обратилась Китти к матери, уже в десятый раз втолковывавшей что-то пожилой женщине в зеленом сарафане, никак не могшей взять в толк слов барыни.

– Да, да, конечно, поезжай сейчас, а то Марья Львовна будет ждать. Очень, очень кланяйся ей от меня, крепко поцелуй и скажи, что я на днях непременно буду сама. Так ты прямо тут же и садись, а мы домой пешком дойдем: два шага ведь, по крайней мере, с большим аппетитом позавтракаем. Только, дружок, поздно не засиживайся, пожалуйста, засветло домой.

Китти, расцеловавшись со всеми, села в коляску, на козлах возвышалась осанистая фигура кучера Арсения, а рядом сухопарый, но стройный выездной лакей Игнат. Под конвоем этих двух верных, поседевших на барской службе стражей мать всегда спокойно отпускала Китти. Даже мисс Тоопс, согласно принятому этикету всюду сопровождавшая девушек, при поездках Китти к Муратовым, как к близким, от сопутствия ей освобождалась.

Девушка очень ценила это. Не то чтобы бесцветная, добродушная англичанка чем-либо стесняла Китти, но ей дороги были эти минуты одиночества, предшествовавшие приезду в Муратовку, и время обратного пути оттуда, когда среди природы так легко и свободно переживалось и передумывалось все, испытанное за день.

Так было и сейчас. Что за дивный яркий день, один из тех нарядных, сверкающих, какими только август и дарит нас!

Тихо в зеленом смеющемся лесу, но тихо не мертвой тишиной: чувствуется, что жизнь притаилась в каждом уголке этого зеленого царства. Золотым потоком залиты кудрявые вершины; купаются и нежатся они в искрящемся солнечном океане, уже не жгучем, но еще горячем и ласковом.

Упорно стараются пробиться огненные, золотые стрелы сквозь темные, густые, непроницаемые для них ветви раскидистых елей, сквозь густолиственную мантию суровых ветеранов-дубов. Горячими змейками обвиваются они вокруг могучих ветвей, с теплой лаской прилипают к сильным стволам, стараясь заронить тепло и свет в самые недра их холодного сердца.

Игривые и смеющиеся, они пронизывают трепещущие кружевные листья березок, резные затейливые узоры начинающей алеть рябины; торжествующие, словно победители, прорываются сквозь гигантские кудрявые шапки лип и рассыпаются золотыми червонцами у подполья лесных владык, принося им свой добровольный дар.

То здесь, то там раздается жизнерадостное чириканье птиц. Спешат они, ненасытные, торопятся еще понежиться в уже остывающих золотых лучах, вволюшку нащебетаться в этой приветливой изумрудной сени.

И своими серебристыми переливами из глубины вторит им невидимо журчащий ручеек. Пестреют редкие еще пурпурные и янтарные листья, порой порхая, словно громадные бабочки, подгоняемые легким ветерком. Ни одной темной тучки, ни одного угрожающего облачка на светло-голубом небе. Миром и благодатью веет кругом.

Светло и ясно в этот день на душе у Китти. Как-то особенно легко дышится и верится ей сегодня. У обедни она горячо, искренне помолилась: церковная служба всегда отраднo влияла на нее. В руке у нее громадная просвира[13] – обычный праздничный дар Марье Львовне. Девушка точно ждет сегодня чего-то очень хорошего. Да она ждет и на самом деле: за те три дня, что она не была в Муратовке, конечно, есть какое-нибудь известие о Юрии. Она лично ничего за это время не получала, но, быть может, он писал матери, зная, что Китти часто навещает ее, в Муратовку же адресовал и письмо невесте.

Господи, как медленно бегут лошади! Впрочем, вот уже последний поворот, а там, за ним милая, величественная аллея, ведущая к дому.

Здесь Китти всегда вылезает из экипажа. Ей доставляет невыразимое наслаждение идти под густым зеленым сводом сросшихся вековых деревьев, каждое из которых знакомо ей с детства. Постепенно начинает виднеться двор, обсаженный стриженными деревьями, с раскинутыми между ними яркими затейливыми клумбами: вон, в глубине высится милый дом, такой радушный и светлый. Вот чуткое ухо различает веселые всплески высоко бьющего прозрачного фонтана; только идя пешком, и можно еще издали слышать его: стук колес и топот копыт заглушил бы эти приветливые, чистые, точно зовущие, звуки.

Коляска на значительном расстоянии следует за девушкой.

Достигая двора, аллея разветвляется на две; одна с правой стороны окаймляет двор, другая, с левой, как бы вливается зеленым притоком в громадный тенистый сад, расположенный по ту сторону дома.

Этим крытым листовым коридором, минуя парадное крыльцо, девушка и прошла прямо в сад и направилась к хорошо знакомой беседке. Там в ясные и теплые дни, подобные сегодняшнему, всегда завтракали старушка Муратова, Нелли, ее гувернантка и Китти. Марья Львовна знала, как любила девушка этот уголок, и, ожидая ее, всегда приказывала накрывать на стол тут.

Легкой и радостной походкой Китти направилась к обвитой диким виноградом обширной беседке. Еще издали сквозь зелень растительности она разглядела белешую скатерть. Подойдя ближе, девушка убедилась, что ее предположение справедливо. Стол был накрыт на четыре прибора, посредине красовался великолепный букет белых роз, любимых цветов Китти; этим маленьким вниманием старушка, между прочим, всегда баловала дорогую ей девушку. На обычном месте стояло большое кресло с вышитой подушкой, на котором всегда сидела Муратова, и такая же скамеечка под ноги...

Но беседка была совершенно пуста.

Несколько удивленная, Китти остановилась. «Должно быть, приехал кто-нибудь из гостей и Марью Львовну попросили в гостиную. Не иначе. Видно

даже, что торопилась: вот лежит еще нераскрытая газета, вот...» – подумала она.

Сердце Китти быстро забилося. Она, порывисто наклонившись, подняла белевшую на полу бумажку. Кусочек конверта... Не от Юрия ли?

Но лоскуток был так неудачно оторван, что кроме трех каких-то крючков, видимо, конечных букв строчек, не дающих даже возможности судить о руке писавшего, на нем ничего не было.

Хотя перспектива встретиться с чужими, быть может, малознакомыми и чопорными людьми, ничуть не улыбалась Китти, которая чувствовала особенную потребность по душам поговорить со старушкой, тем не менее выбора не было, придется идти в дом.

Китти дошла до самой веранды, но никаких голосов слышно не было. Она миновала зал, еще две комнаты, вошла в гостиную. Ни души! Кругом полная тишина и безмолвие.

«Верно, в своей комнате пишет что-нибудь», – решила девушка.

Но эта необычайная тишина и еще что-то, неясное и жуткое, вдруг тревогой охватили девушку, вспугнув радостное настроение.

В рабочем кабинетике, прилежавшем к спальне, та же тишина и какой-то странный запах, от которого сердце Китти сжалось бессознательным, тяжелым предчувствием. Пахнет лекарством... Отчего?.. Марья Львовна заболела?.. Опять припадок?..

Дрожащей рукой девушка нажимает ручку двери и входит.

Здесь запах так силен, что в первую минуту ударяет в голову. Да, она не ошиблась. Марья Львовна больна, видно, очень больна. Вот она лежит, такая бледная-бледная, в лице ни кровинки... Вот...

Но она больше ничего не успевает разглядеть. Ей на шею, с заплаканным лицом, вся вздрагивающая и всхлипывающая, бросается Нелли.

– С татам припадок сердца? Опять? – тревожно спрашивает Китти, ласково обнимая и целуя девочку.

От этой ласки всхлипывание переходит в сдавленное рыдание; какой-то неопределенный звук срывается с уст Нелли.

– Китти пришла? – раздается вдруг вопрос больной.

Боже, что за голос? При его звуке Китти вздрагивает. Бесцветный, хотя и слабый, но словно отчеканивающий слова, голос! Как он не похож на мягкий, глубокий грудной голос всегдашней Муратовой!

Китти торопливо и бесшумно подходит к больной, нежно прижимается губами к худой, она бы даже сказала, сразу еще больше исхудавшей ее руке, останавливает ласковый взгляд на дорогом лице.

«Господи, что же это? Что случилось с этим лицом? Неужели припадок мог так изменить человека? Верно, она уже несколько дней больна, а она, Китти, и не знала... Не известили...» – все это отрывочно несетя в мозгу девушки, пока она смотрит, не в силах отвести глаз от этого почти чужого лица.

Как осунулось оно! Как заострилось! Какие черные тени легли на него. А глаза?.. Зачем так пристально, холодно, точно стеклянные, смотрят эти непомерно большие глаза?

Китти не может вынести их выражения.

– Милая, родная моя, как припадок измучил вас! – ласково говорит девушка, снова нежно прижимаясь к рукам старушки. – Но теперь, Бог даст, лучше станет, вы поправитесь. Я сегодня была у обедни и так горячо молилась о вашем и Юрия здоровье... Вот и просвирку вам принесла...

Но рука Муратовой не протягивается, как обычно, за просвиркой, благодарность не раздается из ее уст. При последних словах гостя глаза старушки становятся еще больше: что-то темное, почти безумное мелькает в глубине расширенных зрачков.

– Юрию здоровья не надо, – тем же поразившим Китти мертвым голосом отчеканивает она.

Дрожь пробегает по всему телу девушки, страх леденит ее сердце. Ей кажется, что старушка лишилась рассудка.

Уткнувшись лицом в мягкую спинку кресла, совершенно не владея больше собой, навзрыд плачет Нелли. В сторонке, у изголовья больной, стоит до этих пор не замеченная Китти Татьяна, верная горничная Муратовой. По ее грубому немолодому лицу обильно катятся слезы, она едва успевает утирать их.

– Юрий здоров теперь, совсем здоров... Больше ему ничего не нужно, – снова звенит металлический голос. – Прочитай сама, вот... – указала Марья Львовна на лежащее близ кровати письмо.

Вдруг с лицом старушки произошло еще одно превращение: черты дрогнули, в неподвижных застывших глазах затеплилась мысль, глубокая безысходная печаль. Благодатные обильные слезы горячей струей потекли по худым щекам, и голос, прежний, глубокий, надрывающий душу звучащей в нем теперь неутешной тоской, проговорил:

– Нет больше нашего Юрочки... Понимаешь ли, голубка моя, нет его, нашего родного, нашего дорогого! Китти, моя Китти, девочка моя маленькая, осиротели мы с тобой, закатилось наше счастье, наше солнышко, наше...

Рыдания потрясли худенькое тело старушки. Свинцом легшие на сердце, не выплаканные в первую минуту, слезы бурным потоком рвались наружу, требовали простора, не щадя это хрупкое, надломленное недугом и горем существо. Рыдания становились судорожными, дыхание короче и прерывистее. Через несколько секунд, прежде чем пораженная Китти успела отдать себе отчет в страшной действительности, Муратова уже снова лежала в жестоком сердечном припадке.

Все внимание надо было сосредоточить на ней. Доктор, за которым сейчас по получении рокового известия был послан нарочный, приехать еще не успел, пришлось применять ранее прописанные им средства, имевшиеся дома.

Китти двигалась, как автомат: сама она, ее душа, весь ее внутренний мир, еще недавно ярко освещенный и согретый надеждой на близкое светлое будущее, потемнел; порыв жизненной бури беспощадно задул яркий светильник, озарявший ее путь. Вместо лучезарной радости сердца коснулось мрачное леденящее крыло смерти. Тяжелой глыбой легло горе на юную

душу, надломило ее светлые трепетные крылья, раздробило мечты, развеяло надежды.

В первую минуту и потом, весь тот страшный день, девушка не успела дать себе точного отчета в случившемся. Страшный кошмар наяву овладел ею. Она силилась проснуться, отогнать чудовищное сновидение, но оно, словно змея, заползало в сердце, в мозг, в душу, леденя и мертвя их.

В первую минуту и потом, весь тот страшный день, девушка не успела дать себе точного отчета в случившемся. Страшный кошмар наяву овладел ею. Она силилась проснуться, отогнать чудовищное сновидение, но оно, словно змея, заползало в сердце, в мозг, в душу, леденя и мертвя их.

В этот роковой день все внимание Китти было сосредоточено на больной, только в этом направлении отчетливо и ясно работало ее сознание: не было облегчения, не было средства для усмирения страданий несчастной, которое не применила бы, с поразительной находчивостью не измыслила бы девушка. Страшное письмо, этот злополучный клочок, разбивший ее жизнь, был тут же, в ее руке. Судорожно сжав его, она в неустанной заботе о больной не успела даже прочитать подлинного содержания.

Наконец приехал доктор. Только тогда она присела и, улучив свободную минуту, прочла роковые строки. Писал Дохтуров, которому была вверена непосредственная защита Смоленска. В письме говорилось о геройстве и самоотверженности, проявленной нашими войсками, о страшных пожарах, постепенно охватывавших город и превративших его в один сплошной пылающий костер. Но даже и там, так сказать, на берегу этого огненного моря, на улицах города, русские еще сражались с ворвавшимися в городские стены французами.

«И всюду, доколе еще можно было что-нибудь различить в этом аде крошечном, в самых опасных местах видел я вашего сына, – писал Дохтуров. – Казалось, не только сам он не боялся опасности, но хотел ее напугать своей беззаветной храбростью. Целый день продолжался отчаянный смертный бой. Наконец, шестого августа утром, русские войска отступили на Московскую дорогу.

В тот же день я приказал позвать к себе вашего сына. Трижды повторял я приказание, наконец, после четвертого раза мне донесли, что ни в числе живых, ни в числе пленных, ни в числе раненых сын ваш не значится... Тяжелую весть выпало мне на долю сообщить жене своего лучшего друга. Укрепи и помилуй вас Господь! Удар жесток, но коли может быть утехой для материнского сердца сознание, что сын ее, как истый солдат, как верный сын своего отца, славно умер, положив жизнь за Престол и Родину, пусть это утешит страдания вашего сердца. Не каждому дано такое счастье! Я был болен, лежал в постели, встал, чтобы Господь дал мне умереть на поле чести, а не бесславно на кровати, и вот я, старый и больной, жив, а его, молодого и цветущего, не стало... Поистине пути Господни неисповедимы, видно, такие, как он, Богу и нужны...»

Безжизненно опустились на колени руки девушки, широко открытые глаза смотрели неподвижно. Ни отчаяния, ни острой тоски, ни слез в них не было, точно страшная действительность не достигла еще ее сознания. Китти ощущала лишь холод и страшную тяжесть, ее плечи зябко подергивались, все вокруг стало темным и серым.

Когда Муратова, наконец, успокоившись, заснула после данных ей лекарств, Китти решила оставить ее и поехать домой.

Нависли сумерки, на небе догорала последняя розовая полоска.

Китти возвращалась по той самой дороге, по которой ехала утром. По-прежнему неутомимый фонтан подбрасывал вверх светлые струи, но этот звук уже не ласкает уха Китти: как тоскливо, как уныло раздается этот плеск в вечернем воздухе! словно беспросветное осеннее небо, роняющее обильные слезы, печально звенят теперь тяжелые водяные нити. Серые, густые сумерки ползут по лесу, окутывают примолкшие мрачные деревья. Ни одного яркого луча, ни одного просвета. Темные тени все торопливей, все властней простирают свои гигантские руки; холодный, пронизывающий ветерок колышет порой сонную листву; разбуженная, она гневно шелестит, спугивая приютившихся в ее сени дремлющих птиц.

Густой черной пеленой заволочло все; ночь вступает в свои права. Небо кажется темным, холодным, недостижимо высоким и печальным. Не мигают, не искрятся, не переливаются на нем звезды; неподвижно блестят они, словно невыплаканные, застывшие в холодной синей выси миллионы крупных, тяжелых слез...

Троянова, обеспокоенная необычно долгим отсутствием Китти, при стуке подъехавшего экипажа торопливо вышла навстречу девушке. При виде прозрачно-бледного, странно неподвижного лица дочери, ее охватила сильная тревога.

– Китти, голубка, что с тобой? На тебе лица нет! Что случилось?

Девушка простояла безмолвно, не в силах произнести ни звука.

– Юрий убит! – наконец едва внятно вымолвила она.

– Что ты сказала? Не может быть!.. Ю... Юрий... – Троянова не закончила.

– Юрий убит, – еще тише, но совершенно отчетливо повторила девушка. – Вот, – она протянула по-прежнему бессознательно зажатое в руке письмо.

– А я пойду, лягу... так устала... – и, словно лунатик, едва передвигая ноги, Китти, насколько позволяли ей иссякшие силы, поспешно направилась в свою комнату.

ГЛАВА 6

Благодатное замерло. Казалось, светлая радость, столько лет полновластно царившая там, безвозвратно покинула его. Правда, не слышалось рыданий, тяжелых, раздирающих душу сцен, но тихая печаль реяла повсюду, притаившись, смотрела из каждого уголка дома, туманным, скорбным призраком бродила по темным аллеям и освещенным лужайкам.

Китти не заболела, не сошла с ума, как боялась мать. Слез, отсутствие которых особенно тревожило и Анну Николаевну, и верную Василису, по-прежнему не было: не выплаканные в первую минуту, они застыли холодным

нерастворимым клубком и давили сердце. В выражении лица, во всем поведении девушки не было заметно острой тоски; в ее глазах не сквозило безысходное отчаяние. Только вся она будто затихла: голос звучал необыкновенно глубоко и мягко, большие глаза заволакивала печальная дымка, и лицо, и фигура ее стали тоньше, прозрачнее, менее земными. Тихая улыбка скользила иногда по слегка побледневшим губам, мягким блеском отражаясь в глазах, но глаза не улыбались.

– Китти, голубка моя, не отчаивайся, быть может, не все еще потеряно. Бог так милосерден! Мы проверим известие, папá сам справится в штабе... Кто знает? Вдруг...

Казалось, надежда теплилась и в сердце девушки, и в ней Китти черпала великую силу терпения.

Но вот пришло письмо от Троянова. Увы! По наведенной им справке последовал тот же ответ: молодого Муратова в списках живых, раненых и пленных не оказалось. Он попал в тот страшный разряд, где в то время не велось еще точного подсчета, но который заполняли десятки тысяч несчастных, и не менее жертв ожидалось впереди.

Зловещим ураганом все глубже внутрь страны двигались вражеские полчища, сея на пути своего шествия кровь, насилие, огонь и скорбь. Все более сгущалась над Русью темная туча, она, грозная и зловещая, нависла над самым ее сердцем.

И дрогнули в ответ миллионы русских сердец, охваченных тем великим чувством, которое воспламеняет гаснущие силы старика, ведет на подвиг юношу, вчера еще ребенка, укрепляет его неумелую, нетвердую руку. Настала минута, когда все, кто был в силах держать оружие, юноши и старики, обеспеченные и бедные, свободные и занятые, – все бросали дела, семью, привычную жизнь, чтобы одной сплоченной, могучей русской грудью опоясав, как железным кольцом, священную свою столицу, отстоять ее от ненавистного врага. Проклятия сыпались в адрес Наполеона, и ненависть к французу никогда еще не была так сильна.

С Женей творится что-то необычное. Девочку прямо-таки нельзя узнать. Кажется, удар, нанесенный семье смертью Юрия, отразился на ней сильнее, чем на Китти.

Потухли золотые искры в глазах девочки; не дрожат, не переливаются они ни молодым задором, ни детским беззаботным весельем. Они кажутся больше, глубже, темнее; какая-то дума, какая-то тревога, будто растерянность и робость, столь чуждые прежде характеру Жени, залегли в них. Не сверкают белые зубы, не появляются ежеминутно, как прежде, очаровательные ямки около смеющегося ротика; улыбка совсем сбежала с этих розовых уст со дня получения рокового известия.

Не только во взгляде, в движениях, во всей манере Жени держать себя сквозит что-то робкое, неуверенное, покорное, порой заискивающее и молящее. Что-то мучает, крепко сосет это пылкое сердечко.

В противовес Китти, гибель Юрия вызвала во впечатлительной Жене потоки неудержимых слез, тяжелые неутешные рыдания. До сих пор смерть жила

лишь в ее воображении, как страшный призрак, как величайшее бедствие, неотвратимое и безжалостное. С начала войны столько раз касалось ее уха это слово, но оно оставалось только словом, бесформенным, неясным: Женя не видела смерти вблизи, не помнила. Но умер Юрий. Это не звук, тут не надо работать воображению, чтобы представить себе, что «кто-то» перестал жить, это не «кто-то», это Юрий... Как он, молодой, красивый, милый, веселый, неподвижно лежит где-то, никогда не встанет, не заговорит, не улыбнется? Не будет бегать в горелки, как еще совсем недавно, когда ей удалось поймать Николая Михайловича? Никогда не взглянет на Китти своими ласковыми карими глазами, как тогда в каштановой аллее, и потом не обнимет, не поцелует ее светлую головку, а та не обовьет руками его шею, как в тот раз, когда она нечаянно подсмотрела?! Картины этого светлого, веселого, кажется, последнего беспечального дня особенно ясно встают в памяти Жени.

Нет Юрия!.. Нет... Совсем... Нигде-нигде... Сколько ни ищи, что ни делай, как ни проси, ни моли Бога... – нет!.. Умер!..

Чудовищным, несовместимым, невероятным представляется девочке случившееся; ее мозг никак не может усвоить этого.

Умер Юрий, которого так любила Китти, который обожал ее, помолвке которых она, Женя, так страшно радовалась! Этого не может быть!.. Зачем же они любили друг друга? Зачем?.. Как же теперь Китти одна?..

Слезы давно уже горячей струей катятся по лицу Жени, но она не вытирает, даже не замечает их. Неподвижно и настойчиво она смотрит в темный сад, на мрачные силуэты кустов, точно ища разгадки своим мыслям в их темной глубине. «Она жива, а он убит, – дальше несется ее мысль. – Убит...»

– У-убит... У-убит... – стараясь вникнуть в особое значение этих слов и растягивая их, повторяет девочка.

И ей мерещится гудящий звон орудий:

– У-у-убит!

Выстрелили... французы и убили...

Она запинаясь посреди фразы: что-то острое пронизывает ее сердце.

– Убили французы!..

Слезы душат девочку, она падает головой на подоконник и горько-горько рыдает.

– Чтой-то, девонька, чтой-то, милая, сердечко так свое надрываешь? – раздается за ее спиной ласковый старческий голос, и рука Василисы опускается на плечо. – Все одно, не пособить горю, слезы – не вода живая, sprysneshь – не очнется. Да где его, сердешного, и искать-то? Поди, девонька, водицей святой покроплю, на сердце-то у тебя и полегчает. Я и Катеньку нонче прыскала, и постельку всю, и углы в комнате, вот и прояснилась она, не такая, будто, застывшая, и глазки засветились. Да, поистине душа ангельская... Уж и по наделал делов басурман проклятый, со своими антихристовыми прислужниками... – совершенно другим голосом через минуту добавляет старушка.

Женя вздрогнула. Еще сильнее, глубже, острее вонзилось что-то в сердце девочки. «Басурманка!» – в каком-то потаенном уголке болезненно зазвучало знакомое слово.

И в ту же минуту ей припомнилась недавняя неудачная шутка Сергея, в которой так горячо, так искренне он раскаялся. Но сейчас это последнее обстоятельство совершенно ускользает из памяти Жени, одно только злополучное слово «басурманка» раздается в ее мнительном воспоминании.

– И няня... и он, Сережа... и... и... все... все так думают...

Женя в няниной келейке. Девочка громко рыдает. Няня кропит и поит ее святой водой. Но Женя, лежа на Василисином сундуке, с подsunутой под голову старушкиной ватной кацавейкой[14], вся подергивается, всхлипывая. Морщинистая шершавая рука ласково проводит по ее кудряшкам, в то время как другая гладит тоненькие плечики.

Женя, лежа на Василисином сундуке, вся подергивается, всхлипывая.

– Вишь ты, сердечко золотое, вишь ты, душенька добрейшая, как по чужому горю горюет, родимая, – растроганно шепчет старушка.

Но до подозрительно настроенной Жени из похвалы Василисы долетает и отдается в ее расстроенном воображении одно лишь жестокое слово – «чужое горе». Горе Китти для нее чужое, и она всем, всем чужая...

Женя долго плакала, пока, изнеможенная, не заснула там же, на сундуке, в няниной келейке, где кругом горели лампы и ласково смотрели темные лики святых.

С этого дня что-то разломилось, раздвоилось в сердце девочки, словно в прежнюю, настоящую Женю вошла другая, робкая, неуверенная, сдерживающая и подавляющая ее. Ни разу за последнее время порывисто и горячо, как прежде, не обняла девочка мать: робко, тревожно заглядывая ей в глаза, подходила Женя, словно ища и боясь найти что-то новое, страшное, в этих так хорошо знакомых, прежде всегда ласковых глазах. Теперь она пытливо всматривалась в них.

Теплой радостью освещалось сердце, когда ей казалось, что ласка матери так же горяча и искренна; тогда девочка смелее охватывала стройный стан женщины, плотнее прижималась головой к дорогой груди, крепко-крепко, но опять-таки не порывисто, а бережно целовала белую ладонь.

– Мамочка, скажи, ты любишь меня? – пытливо заглядывая в лицо Трояновой, спросила однажды девочка.

– Конечно, Женюша, что за вопрос?

– Не меньше, чем прежде?

Голос звучал настойчивее, глаза впились в лицо матери, словно стараясь уловить в нем малейшее изменение.

– Конечно, ничуть не меньше, деточка. И с чего это тебе только вздумалось?

И светлело на сердце, свободнее дышала грудь девочки.

Еще внимательнее и тревожнее наблюдала Женя за Китти. С ней она робела еще больше. Что-то благоговейное, виноватое, заискивающее и молящее было в ее взгляде, обращенном на печальное, похудевшее, почти прозрачное лицо сестры. Жене хотелось молиться на нее, стать перед ней на колени,

плакать, просить прощения. Но она не смела. Она едва решалась обращаться к ней с разговором и молча смотрела на девушку любящими, преданными, виноватыми глазами.

Сколько раз ей хотелось спросить и Китти: любит ли, может ли та еще любить ее? Она все собиралась и не могла отважиться. Наконец однажды, когда Китти, желая спокойной ночи, обняла ее, Женя, пылливо глядя в глаза сестры, робко, едва слышно спросила:

– Ты... любишь меня?

Вместо ответа Китти крепко поцеловала ее в голову. Женя вздрогнула всем телом, по-своему поняв это молчание. «Не любит!.. Не любит!.. А солгать не может, вот и молчит», – пронеслось в ее мозгу.

– Нет, скажи, скажи, умоляю, правду скажи: любишь или нет? – настаивала Женя, и во взгляде, в голосе девочки звучала тоскливая мольба.

– Да разве я могу не любить тебя, моя маленькая, моя славная, моя ласковая крошечка! – задушевно ответила девушка.

– И можешь забыть, не помнить, простить?..

– Да что же, что же, Женя?.. – недоумевала Китти.

– То... то... и вообще все... и что... я... – не договорив, в горячем порыве Женя бросилась на пол к ногам девушки, покрывая их жаркими поцелуями, пряча в складках ее платья свое орошенное слезами лицо...

Нечего и говорить, что ежедневные занятия Жени и Сережи с Николаем Михайловичем при существовавшем в доме настроении не могли идти правильно и успешно. Учитель, со своей стороны, добросовестно сзывал воспитанников и отсиживал положенные часы, но плодотворных результатов эта работа не давала. Женя никогда не отличалась ни усидчивостью, ни особой любовью к науке, но теперь даже серьезный в этом отношении и исполнительный Сергей совершенно опустил руки.

Поступление в университет, о котором он прежде мечтал, теперь не манило его. Голова, душа юноши были полны другими стремлениями, другим горячим и страстным желанием. Мудрено ли, что исторические герои, цари и государи в живой исторический момент, в действительности переживаемый в то время Россией, казались ему бесцветными картонными фигурками, которых он немилосердно смешивал, расстраивая этим своего учителя.

Впрочем, и сам Николай Михайлович, как учитель, не был в то время на высоте своего призвания: его пылкую впечатлительную душу властно охватили текущие события. Он рвался туда же, куда в ту минуту рвалось все молодое, сильное, восторженное. Рвался и тосковал о невозможности выполнения своего стремления: на его руках была мать, полуслепая, болезненная женщина, существовавшая исключительно на скромный заработок сына, который он весь, до копейки, отсылал ей. Что случилось бы с несчастной, лишенной сил и работоспособности старушкой, откажись ее Коля от занимаемой службы, потеряй свое постоянное жалованье? Сын слишком хорошо помнил и сознавал это. Поэтому когда после отъезда старика Троянова он утешал Сережу в несбывшемся его желании сопутствовать отцу, в его словах прозвучала выстраданная убедительность.

– Верьте, Сережа, гораздо меньше мужества, самоотвержения и душевной борьбы нужно для того, чтобы совершить манящий, окрыляющий нас подвиг, чем чтобы отказаться от него и тем выполнить свой маленький, незаметный, повседневный долг.

Мудрено ли, что часто с беседы о геометрических телах и исторических личностях как-то незаметно, само собой, речь переходила на животрепещущие темы, на впечатления, переживания и порывы, переполнявшие эти молодые души.

В тот день, когда было получено последнее печальное письмо от Дмитрия Петровича, извещавшее о все омрачающемся тяжелом положении России, никто не заикался об уроках, не было даже обычных разговоров: всякий, замкнувшись в себя, по-своему думал, чувствовал, переживал.

Долее, чем когда-либо, Китти стояла в эту ночь на коленях. Пристально, почти не мигая, словно прикованные, глаза девушки смотрели на темный таинственный лик Спасителя, на окаймленный блестящей ризой, казавшийся оттого еще скромнее и вдумчивее, кроткий лик Божьей Матери. Девушка точно старалась проникнуть в выражение этих с детства знакомых черт, найти в их взгляде нечто новое – ответ на то, что творилось в ее собственной душе.

О чем молилась Китти? Просила ли Всемогущего совершить чудо, воскресив умершего? Молила ли укрепить, дать ей самой силы нести тяжелое бремя? Дрожала ли, коленопреклоненная, за жизнь отца, который каждую минуту подвергается смертельной опасности? Просила ли спасти несчастную страждущую родину? Молитва ее была горяча и вдохновенна, точно небесный огонь озарял тонкие одухотворенные черты. Казалось, вот-вот отделится от земли эта светлая, воздушная фигура и уплывет в голубую высь. О чем молилась Китти? Просила ли Всемогущего совершить чудо, воскресив умершего? Молила ли укрепить, дать ей самой силы нести тяжелое бремя? Дрожала ли, коленопреклоненная, за жизнь отца, который каждую минуту подвергается смертельной опасности? Просила ли спасти несчастную страждущую родину? Молитва ее была горяча и вдохновенна, точно небесный огонь озарял тонкие одухотворенные черты. Казалось, вот-вот отделится от земли эта светлая, воздушная фигура и уплывет в голубую высь.

Темные лики, видимо, дали девушке тот ответ, о котором в восторженном, настойчивом порыве просила она. Когда Китти поднялась на ноги, в ее лице и во всей фигуре появилось что-то новое, светлое и решительное. Казалось, она окрепла, нашла твердую, не колеблющуюся больше под ногами почву и прочно оперлась на нее.

С тем же ясным и твердым выражением лица Китти вышла на следующее утро к столу. Произошедшая в девушке перемена бросалась в глаза, ее тотчас же заметили и мать, и пылливо следившая за сестрой Женя.

Один только Сережа не обратил внимания на Китти; он сам казался сильно взволнованным и возбужденным. И это обстоятельство, конечно, не укрылось от зорких взглядов девочки и Анны Николаевны.

Женя внутренне дрожала, охваченная каким-то предчувствием, ощущением близости чего-то нового, неожиданного и, конечно, страшного, – ведь только одно ужаснее, тяжелее другого и случалось в последнее время! Ее лихорадочно блестящие глаза перебегали с одного лица на другое, стоило кому-нибудь заговорить, и девочка настораживалась. «Вот-вот оно, новое, страшное... Сейчас скажут слово, страшное слово... Господи, помоги!..»

Предчувствие не обмануло чуткую Женю: «оно» началось, то неясное, страшное, что так пугало ее, пришло. Пусть она не слышала самого «слова», но оно было сказано, слетело с уст и повело за собой неизбежные последствия.

Встав из-за чайного стола, Анна Николаевна направилась в свой рабочий кабинет. Через несколько минут после нее вошла туда и Китти.

– Мамочка, – проговорила девушка, опускаясь рядом с матерью на диван и ласково беря ее за руку, – мне нужно поговорить с тобой. Знаешь, сегодня ночью я долго-долго думала, горячо молилась. Ты видела, как я страдала, как темно и безотрадно было у меня на душе. И вдруг я увидела свет. В сердце, в мозг словно проник ясный луч. Ты поймешь, не можешь не понять меня, родная, недаром же я твоя дочь, недаром – ты всегда сама это говорила – у нас столько общего.

Девушка прижала обе руки матери к своим щекам и нежно поцеловала ладони.

– Все эти дни, – продолжала она, – я чувствовала себя мертвой среди живых людей, я чувствовала, что во мне нет жизни, нет мысли, что я, будто тень, блуждаю среди вас. Я словно во сне воспринимала окружающие меня впечатления, себя саму даже не чувствовала: кругом меня, подо мной – всюду что-то зыбкое, мягкое, ускользающее. Мне казалось, вот-вот покачнусь и упаду совсем. И вдруг сегодня ночью, когда я молилась, меня словно ярким лучом озарило: я почувствовала, что под ногами у меня есть нечто твердое, что я не упаду, что жизнь не совсем ушла, она еще теплится во мне, может вспыхнуть, разгореться, только... Не здесь, не среди живых и здоровых, а там, среди несчастных, стонущих, страждущих, искалеченных, стоящих на краю могилы, которых не сегодня-завтра унесет смерть. Среди них я буду живая, силы мои будут крепнуть, чтобы поддержать их угасающие силы, чтобы отстоять, вырвать их у неумолимой холодной смерти. Подумай, мамочка: разве Юрий один, разве одна такая чистая душа, одно такое самоотверженное и благородное сердце погибло? Сколько невест и матерей не утешно плачут по своему сокровищу, по солнцу, воздуху своей жизни! Отстоять у смерти для двух, трех, хотя бы одной страдальцы ее счастье, ее радость, быть может, самую жизнь ее?! Подумай, мамочка, подумай, какую отраду, какую силу можно почерпнуть в этом сознании!

Девушка вся горела воодушевлением. Придавленные силы, надломленная жизнь, казалось, распрямлялись, росли.

А мать смотрела в темно-синие вдохновенные глаза, на разрумившееся тонкое лицо дочери, на то, как преображалось оно, последние дни наводившее тоску и страх своей прозрачностью, своим не от мира сего

выражением, кротостью и воздушностью, свойственной одним лишь обреченным.

Китти не ошиблась: мать хорошо понимала ее! Но в сердце женщины шла борьба. Она сознавала, что на полях войны, среди несчастных, девушка действительно может найти успокоение, воспрянуть духом, переломить горе, ожить душой. Но, с другой стороны, с эгоизмом любящей матери она дрожала при мысли об опасностях, тяготах, лишениях, холоде, заразах, которым подвергнется дочь. В ту минуту, когда Анна Николаевна заговорила, последнее одержало верх.

– Верь мне, девочка, я понимаю тебя, вполне понимаю. Но пойми и ты: мне страшно, ты не вынесешь той ужасной обстановки, ты погубишь свое здоровье, погубишь себя...

Но Китти перебила ее.

– Разве люди умирают только от пуль, заразы и переутомления? Разве они не гибнут от... горя, страдания... оттого, что... умерла душа?..

Столько силы, столько беспредельной тоски прозвучало в словах, а главное, в голосе Китти, такая бездонная глубина страдания открылась перед Трояновой, что она содрогнулась. Свет потух в глазах девушки, краска отхлынула от снова ставших прозрачными щек, и вся она бессильно и жалобно поникла.

– Я ведь не отговариваю тебя, моя крошка. Разве могу я удерживать, разве смею? Ищи покоя и отрады там, где думаешь их найти, и пусть Христос сохранит тебя.

Голос матери звучал почти твердо. Она больше не колебалась, поняв, что спасти душу, а с ней и жизнь ее дочь сможет только подвигом самозабвения, отдав и силы, и свое сердце страждущим.

– Китти, скажи, это правда? Ты хочешь уехать туда?.. Сделаться сестрой милосердия? – спрашивала Женя с побледневшим личиком, с расширенными глазами.

– Да, Женюся, правда.

– Не надо, Китти! Милая, золотая, родная, не надо!.. Останься, ведь там так страшно, так тяжело!..

– А им не тяжело, Женя? Им, всем увечным, несчастным, раненым, больным, умирающим? Им, которые ради спокойствия всех нас, русских, неспособных воевать, ради детей, стариков, старушек, ради царя, родины, все отдали, все, даже жизни не пожалели, – не трудно, не тяжело им? – горячо ответила Китти.

– И ты будешь лечить их? Будешь их кормить, бинтовать, мазать их раны?.. – при последних словах Женя вздрогнула. – Ведь это так ужасно! Китти, Китти, золотая, не надо... Не надо!..

– Да, конечно, это ужасно, – вдумчиво проговорила девушка, – но еще ужаснее мысль, что некому позаботиться, облегчить страдания. Ведь многие умирают потому, что им не помогли вовремя, недосмотрели. Подумать только, что и он... и Юрий страдал, и он, быть может, ждал и не дождался помощи... – голос Китти сорвался. – Я хочу быть среди этих страдальцев,

стать ближе к нему, побыв в той обстановке, где был он. Это единственное, что я могу сделать в память о нем.

Минуту Женя молчала, как бы проникнувшись словами сестры, но только одну минуту.

– Нет, нет, Китти, не надо, не надо! Подумай, ведь... ведь тебя... убить могут...

Женя едва выговорила последние страшные слова.

– Что ж? Тогда я увижусь с Юрием, – последовал спокойный ответ; что-то светлое зажглось в глазах и мягким лучом пробежало по всему лицу девушки.

– Китти, какая ты... святая! – восторженно глядя в лицо сестры, проговорила девочка и благоговейно прижала к губам ее руку.

«Тогда я увижусь с Юрием...» – эта мысль глубоко поразила Женю; ей самой она не приходила в голову. Как при этих словах озарилось все лицо Китти, какая тихая радость загорелась в ее глазах!.. И впечатлительная, горячая головка девочки уже рисует себе картину этой встречи.

Ей видится синее-синее небо, глубокое, яркое; стаи светлых, лучезарных ангелов витают, словно плавают, по голубому воздуху; их большие белые крылья серебрятся и переливаются в лучах солнышка; маленькие ангелочки, точно крупные серебряные бабочки, вьются и мелькают между взрослыми. Вдруг все останавливаются, перестают порхать, наклоняют головы и пристально смотрят вниз. Еще и еще нагибаются они, вглядываются в далекую темную землю. Они ждут чего-то. Вот улыбки озаряют их лики, но лучезарнее, радостнее всех сияет лицо одного ангела. Белый хитон искрится на солнце; широко взмахивают блестящие крылья. Плавно отделяясь от голубой лазури, плывет он, опускаясь все ниже.

Это Юрий. А навстречу ему с темной, холодной, печальной земли светлым облачком поднимается легкая белоснежная фигура. Белокурые длинные волосы развеваются; воздушные ткани колеблются вокруг ее стана; незапятнанные белые крылья блестят алмазами от пролитых на них там, на земле, несчетных слез. Лучезарная девушка поднимается все выше. Еще минута, и темноволосый ангел радостно протягивает ей руки. И вот они уже вместе плывут в лазурную высь, а навстречу им несется приветственный хор ангельских голосов...

Женя зачарована картиной, созданной ее воображением. Она так ясно рисует себе лицо ангела, Юрия, летящего навстречу покидающей землю Китти, видит, как радостно озаряется лицо сестры. «Как тогда в саду», – мелькает воспоминание. Она уже готова, как тогда, порадоваться их счастьем, но яркое видение меркнет и болью сжимается забившееся было радостью сердечко.

Женя зачарована картиной, созданной ее воображением. Она так ясно рисует себе лицо ангела, Юрия, летящего навстречу покидающей землю Китти, видит, как радостно озаряется лицо сестры. «Как тогда в саду», – мелькает воспоминание. Она уже готова, как тогда, порадоваться их счастьем, но яркое видение меркнет и болью сжимается забившееся было радостью сердечко.

Но ведь для этого надо, чтобы Китти умерла, ну да, умерла! Ужас охватывает девочку, и она стоит, подавленная и растерянная.

Вдруг внимание Жени привлекли доносящиеся из будуара матери горячий разговор и взволнованно звучащий голос Сережи.

«О чем это они? Чего он просит? Да, конечно, просит... Чего хочет?..»

Мгновенно все тревоги, все предчувствия, томившие девочку, воскресли: страх перед новой, еще более ужасной бедой охватил ее.

Затаив дыхание, с сильно бьющимся сердцем и пылающими щеками, в одно мгновение она очутилась на пороге будуара.

– Мамочка, дорогая, пойми же и ты! – горячо возражал Сережа Анне Николаевне. – Тогда я послушался вас, тебя и папá, но теперь я не могу, теперь сам отец послал бы меня. Разве может честный человек сидеть сложа руки в такое время? Прощаясь со мной, благословляя меня, папá сказал: «Пока это преждевременно, но если, сохрани Бог, настанет такая пора, что всякий честный сын своей родины должен будет выйти на защиту ее, я не буду тебя удерживать». Это время настало. Даже женщины, вот Китти и та идет, неужели же мне?.. Мамочка, пойми, ведь я не ребенок, я взрослый, я мужчина...

– Ты взрослый? Ты мужчина? – вдруг, не замеченная им раньше, перебила брата Женя, прежняя Женя, вспыхнувшая разом, словно порох. – Мальчишка ты! Безусый! Безграмотный! Лентяй! Ничего он не знает, ничего не понимает, римских пап с императорами путает, сочинение на днях такое Николаю Михайловичу подал, что тот чуть в обморок не упал, – и он на войну! Мамочка, дорогая, не пускай его, не пускай! Он сумасшедший, он и там все напутает, русских перестреляет... Да он и стрелять не умеет, его французы, как цыпленка, убьют... Не пускай, не пускай! Ему учиться надо, к экзамену готовиться... Непустишь? Скажи, скажи! Непустишь, нет?

Женя, едва понимая, что говорит, перечисляла все, что, как ей казалось, могло послужить к задержанию Сережи. Вздрагивающая, с прерывающимся от слез и волнения голосом, она обнимала колени матери, страстно повторяя:

– Не пускай, скажи, что непустишь!

Но Анна Николаевна молчала, и тревога Жени росла.

– Почему ты молчишь? Скажи ему, запрети!.. – молила девочка.

– Этот вопрос слишком серьезен, Женя, чтобы так, в одну минуту, не обдумав, решить его.

Вздрагивающая, с прерывающимся от слез и волнения голосом, Женя обнимала колени матери.

Девочка поднялась с колен.

– Тут нечего думать, нечего обсуждать: он не может, не смеет, да, не смеет уйти!

Женя в порыве запальчивости даже топнула ногой.

Вдруг волнение затихло; волна нежности, любви и отчаяния охватила девочку; она подошла к Сереже, обвила обеими руками его шею и, пряча свое мокрое, расстроенное личико на его плече, голосом, полным ласки и мольбы, заговорила:

– Сережа, миленький, родненький мой, золотой, не уезжай! Посмотри, какое лицо у мама, посмотри, как страшно-страшно тяжело мне... – Женя всхлипнула и кулаком быстро отерла слезинки. – Я все-все для тебя сделаю, только останься, не ездь туда. Там так много людей, все туда едут, а у нас тут ты один, только ты. Как же мы без тебя? Как мама? Как я? Если любишь, если жалеешь, останься. Остаешься?.. Ведь да? Ведь любишь?..

Юноша крепко обнял огорченную девочку и, ласково заглядывая в ее заплаканное личико, заговорил:

– Люблю, очень люблю и маму, и моего дорогого Жучка. А ты, Женя, ты сама разве не любишь меня? Любишь ведь, да? А если любишь, как же ты можешь хотеть, чтобы я был подлецом и трусом? Ведь это же подлость будет с моей стороны, если я, молодой и здоровый, останусь сидеть дома, когда больные, старые, хилые идут воевать, когда моя родная сестра Китти...

– То Китти, а то – ты, – перебила Женя.

В ее голосе уже не было недавней теплоты и ласковости; что-то сухое, враждебное звенело в нем.

– Пойми же, Жуленька, что если Китти, нежная, хрупкая девушка, почти девочка...

– То тебе, мужчине, почти старцу, тем более нужно? – снова перебила Женя. – Ну и иди! Поезжай! Хоть завтра! Хоть сейчас! Хоть сию минуту! И отлично, и очень рада! Да, да, рада! Страшно рада! Никому ты здесь не нужен и отправляйся себе! Не бойся, плакать не будем, ни-ни, не будем... Мне все равно, все-все равно!.. И пусть тебя там французы зарежут, и пусть, и пускай, отлично, очень рада... рада... рада буду!

Женя, что называется, закусив удила, катилась вниз по наклонной плоскости, не отдавая себе отчета в том, что говорит. Горе, отчаяние душили ее, требовали выхода. Она потеряла голову. Задыхаясь, вся бледная и дрожащая, залпом высыпала она свои страшные слова и судорожно, неудержимо разрыдалась.

– Женя! – раздался укоризненный голос матери.

– Женя, Господь с тобой, что ты говоришь! – тихо и жалобно прозвучали слова Китти.

Но в ту секунду лишь далеким эхом достигли они мозга возбужденной девочки. Затем чья-то рука, заботливо охватив ее плечи, повела из комнаты, поила водой, успокаивала ее.

Быстро прошла необузданная, дикая выходка девочки. Очнувшись, она, трепещущая, ласковая, полная раскаяния, не зная, чем загладить свой проступок, уже сотый раз целовала руки матери, ластилась к Сереже.

– Сергуля, милый, родной, прости меня, сумасшедшую! Если бы ты знал, как я огорчилась, как я крепко люблю тебя, слишком крепко, больше всех, даже... даже больше мамы, – понизив голос и бессознательно оглянувшись по сторонам, исповедуя, как ей казалось, тяжкую вину свою, добавила Женя. – Слишком люблю, вот оттого всякие такие штуки выходят. Так люблю, так люблю!

– Безусого, безграмотного, сумасшедшего, лентяя?.. – не утерпел-таки, чтобы не поддразнить ее брат.

Девочка с укором подняла на него глаза.

– Самого лучшего, самого умного, самого благородного, самого честного человека на всем земном шаре! – восторженно поправила она. – Знаешь, Сережа, – через мгновение продолжала Женя, – если там на войне тебя... убьют, я тоже тогда умру, да, наверняка... Я не шучу, я знаю это, чувствую. Такая сила звучала в словах Жени, так серьезно смотрели глаза, что сказанное ею не казалось ребяческой фразой.

В эту памятную ночь в большом доме Благодатного никто не спал.

Китти смотрела ясным спокойным взглядом в полумрак комнаты, освещенной голубоватым светом теплящейся лампадки. Мир сошел в ее душу, она была почти счастлива: перед ней сияла светлая цель, сулящая забвение, покой и отраду. Она думала о новой жизни, и сердце ее рвалось туда, к этим несчастным.

Глаза Жени горели тревогой, девочка порой смахивала застилавшие их слезинки. Слишком много было пережито за день, чтобы темнота и безмолвие спустившейся ночи могли усыпить трепетно бьющееся сердечко. Ее собственный проступок, сорвавшиеся с языка жестокие слова снова всплывали в памяти, казалось, ширились и росли в темном просторе ночи. Уже несколько раз девочка вскакивала и босиком, в одной рубашонке, становилась на колени перед темным киотом, кладя земные поклоны. И покаянные ее слезы сменялись жаркой мольбой о сохранении близких и дорогих ей людей.

Сережа смотрел в окружающую его темноту сверкающими глазами. Наконец-то он получил желанное согласие матери. Какое счастье!.. Ему казалось, что его молодые, ищущие применения силы удесятились. Горячая кровь ключом била в жилах, прилиwała к мозгу; пылкое воображение рисовало жаркие схватки, ожесточенный бой, отбитые знамена, пленных французских генералов, хитрую западню, устроенную самому Наполеону, и все это благодаря его, Сергея, неустрашимости, отваге и изобретательности.

Ему казалось, что за спиной вырастают крылья. Скорей бы, уж скорее в дело! И вдруг среди картин кровавых стычек, ожесточенных боев лиц выплывала кудрявая каштановая головка, нежное личико, карие глазки; не смеются, не искрятся они, как всегда, а печально, моляще глядят на него. А рядом другой образ: любящее, огорченное, осунувшееся лицо матери, большие синие, грустью заволоченные глаза.

Что-то защемило в душе юноши при этом видении; нежное, теплое чувство охватывало его; сердце сжимала острая жалость к остающимся, тоска первой разлуки с родным гнездом. Но пестрые, шумные картины начинали снова роиться в возбужденном воображении и боевым туманом застилали кроткие, ясные образы.

Без сна, даже не раздеваясь, провела всю ночь Троянова. Ее слова, сказанные сыну: «надо подумать», – не были пустой фразой. Глубоко и всесторонне обсудила этот вопрос Анна Николаевна.

Конечно, она могла, повинувшись чувству эгоизма матери, просто не отпустить Сережу, еще такого молодого, такого горячего, необузданного, готового с головой кинуться в первую представившуюся опасность.

Без сна, даже не раздеваясь, провела всю ночь Троянова. Ее слова, сказанные сыну: «надо подумать», – не были пустой фразой. Глубоко и всесторонне обсудила этот вопрос Анна Николаевна.

Конечно, она могла, повинувшись чувству эгоизма матери, просто не отпустить Сережу, еще такого молодого, такого горячего, необузданного, готового с головой кинуться в первую представившуюся опасность.

Что значит один Сережа? Разве может он спасти родину, он, неопытный мальчик, почти ребенок? Что значит один среди десятков, сотен тысяч преданных защитников? Не бесполезна ли с ее стороны эта огромная жертва? Но тут же, как беспристрастный судья, протестуют против этих мыслей справедливость, благородство, чувство долга, так сильно развитые в этой незаурядной женщине.

А что если бы все матери, любящие жены и невесты рассуждали так, как она сейчас? И каждая удержала бы при себе дорогое ей существо? Что случилось бы тогда с этим грозным и бушующим теперь народным морем, слитым из крошечных, самих по себе незначительных, водяных частиц, сильных лишь своей сплоченностью, своим общим стремлением затопить врага? Капля за каплей разлилось, иссякло бы оно до самого дна, предоставив врагу взять голыми руками сердце родины.

Разве одна она страдает? Разве мало неосушимых горьких слез льется сейчас всюду?!

Да, конечно, в такое время она не имеет права удерживать сына. К тому же Китти ехать с ним безопаснее, не так страшно будет дрожать за дочь ее сердце. Не так дрожать... Да разве найдется теперь секунда, мгновение, когда бы мучительно не трепетало, не билось оно, ее сердце? Ведь обоих приходится терять, и сына, и дочь...

Терять?.. Да разве она навсегда теряет их?.. Нет, конечно, нет! Разлука временная, они вернутся: Китти – с окрепшей, обновленной душой, Сережа – возмужалым, таким же цветущим и жизнерадостным. Господь смилуется, сохранит их. За что бы захотел Он так жестоко покарать страстно любящую своих детей женщину?..

И вдруг скорбной, темной тенью встает перед ней печальный образ Юрия. А если...

Женщина гонит страшные мысли, она хочет быть сильной, хочет надеяться. Нелегко далось Трояновой ее решение. За короткие дни спешных сборов, предшествовавших отъезду Китти и Сережи, несколько серебряных нитей заблестело в ее густых русых волосах, до тех пор не тронутых сединой.

ГЛАВА 7

Накануне дня, назначенного для отъезда Сергея и Китти, Боря со Степкой как-то необычно суетились. Сперва они вертелись около дровяного сарайчика, тщетно пытаясь вдвоем вытащить из него три тяжелых длинных доски. Видя, что только их усилиями дело не спорится, они кликнули свою верную свиту. Став гуськом и взвалив себе на плечи доски, таинственно, поминутно оглядываясь и избирая окольные пути, они понесли свою поклажу к конюшням.

Начались предварительные переговоры с Михайлом-конюхом, мастером на все руки и вообще парнем добродушным и сговорчивым. На сей раз, однако, он проявил почему-то совершенно неуместное любопытство, удовлетворить которое – по только им известным и, видимо, очень веским причинам – Боря со Степкой отказались. Но соглашение все же, наконец, состоялось. После того на свет появились пила и гвозди, а потом стук молотка огласил двор за конюшнями.

Не успели оглянуться, как в проворных руках Михайлы доски обратились в аккуратный, довольно почтенных размеров ящик с крышкой. Торжествующие, оба карапуза с соблюдением все тех же мер предосторожности, сопя и пыхтя, но на сей раз упорно отказываясь от навязчивой помощи верноподданных, потащили его в конец коридора, к таинственной двери кладовки, где помещались разборный дом и сани.

Женя целый день суетилась, помогала, как она думала, в дорожных приготовлениях, на самом же деле только сбивала с толку всю девичью, заставляя горничных хвататься то за одно, то за другое, боясь, что они или забудут, или запоздают выполнить. Выйдя за чем-то в коридор, она остановилась, с удивлением приглядываясь.

Дверь таинственной кладовки, всегда тщательно притворенная, была настежь открыта. У порога красовался пустой ящик, и над ним, растерянные и взволнованные, стояли Степа с Борей. По щекам последнего текли слезы, которые он размазывал грязной рукой, отчего вся его физиономия была испещрена серыми подтеками.

Лицо Степки было красным и возбужденным, но он не плакал, а, наглядно размахивая руками, пылко утешал своего товарища.

– Зато же я ему и дал! Здорово поколотил, во как дал! Вишь ты, срамник! Сам толстый, как печка, а туда же, воровать, глаза его бесстыжие! Зато уж наперед, накажи Бог, больше не будет! Уж дал я ему, так да-а-ал! – упоенный, очевидно, только что учиненной над кем-то расправой, повествовал мальчуган.

– Боря! – окликнула Женя брата. – Поди сюда! Что случилось? Боже, какой ты грязный! – заметила она приблизившемуся мальчугану. – Пойдем мыться, да расскажи, в чем дело.

– Ты помнишь сахар? – еще вода полотенцем по мокрой физиономии, довольный, что можно перед кем-нибудь излить свое горе, начал Боря.

– Какой сахар? – не поняла сестра.

– Ну сахар, еще ты нам и свой дала, для этих, для солдатиков.

– Ну? – сообразила Женя.

– Так вот мы со Степой не только сахар, мы всё...

– Что «всё»? Говори ты толком, ничего не понимаю, – перебила девочка.

– Я говорю, что мы, кроме сахара, всё стали копить: и мясо, и хлеб, и пирожное – словом, все-все, потому что Степка говорил, на пустой живот не насахаришься. Так мы хотели, чтобы солдатики очень-очень сыты были, вот и складывали все в большие сани, те, знаешь, что Сережин крестный папа мне на елку подарил. Сахар – в дом, а все другое – в сани. Ну, и стало отчего-то пахнуть, а няня хотела по углам пошарить да почистить, тогда я очень испугался. Мы со Степкой и дом, и сани перенесли в кладовку под лестницу, туда все и прятали. Когда мы узнали, что Сережа и Китти скоро поедут, мы очень обрадовались... Вот хорошо!..

– Как тебе не стыдно, Борька? Что ты говоришь, сумасшедший мальчишка! – вспыхнув, дернула его за ручонку Женя.

Мальчуган, сконфуженный, с заблестевшими слезинками, покраснел как рак.

– Мы, Женя, не тому обрадовались, не тому, что они уезжают, а тому, что они... туда едут... – путался мальчуган. – Понимаешь? И что они могут царю прямо в руки отдать и сахар, и все другое, и наше письмо, и ответ нам от царя привезти: очень ли он рад, и что, если нужно, мы еще пришлем. Господи, как трудно было письмо написать! Степа сочинил, а я писал, и все кляксы да кляксы; я восемь раз переписывал, теперь чисто, всего три малюсеньких.

Что ты говоришь, сумасшедший мальчишка! – вспыхнув, дернула его за ручонку Женя.

– Ну, а ревел ты чего, и кого Степка бил? – навела Женя своим вопросом на самую суть печального события отвлекшегося в сторону братишку.

– А! – спохватился тот. – Сегодня, представь себе, когда мы уже и ящик достали, и бумажек приготовили, чтобы все хорошенько упаковать, вдруг, вдруг... приходим... дверца кладовой открыта, и из нее, поджавши хвост, Барбос выбегает, все оглядывается и облизывается, а... в санках, посмотрели, почти пусто... чуть-чуть на дне осталось...

В этом трагическом месте голос мальчика оборвался.

– А мы ведь все-все откладывали, даже тру...бочки с кре...мом, даже ма...маринад...

Здесь, не вынеся, очевидно, мысли о своих долгих и бесплодных трудах, Боря снова захныкал.

– Вы что же это, все так вместе в кучу складывали? И хлеб, и пирожные, и мясо, и крем?..

– И вишни маринованные... – подтвердил Боря.

– Господи, какие же вы дурни! Ведь оно ж все перемешалось, покисло и погнило, конечно. Бедные солдаты! Вы бы уморили их своими гостинцами, и уж, верно, государь не поблагодарил бы вас за это! – не могла не засмеяться Женя.

– Ты думаешь? – глаза у мальчика сразу высохли.

– Наверняка! – подтвердила сестра. – Теперь ступай и не плачь, а мне некогда.

– Постой, погоди! – удержал ее за платье братишка, точно соображая что-то. – А Сережа с Китти царя увидят?

– Нет.

– Не-ет? – разочарованно протянул мальчик. – А почему?

– Царя нет на войне, там где сражения и пальба. Он сейчас в Петербурге.

– В Петербурге?.. – снова комбинируя что-то, проговорил Боря.

Вдруг, пораженный какой-то, видимо, страшной мыслью, он поднял на сестру испуганные глазенки.

– А Китти и Сережа едут туда, где стреляют?

– Да, туда.

– Значит, и в них стрелять будут? И... и... их французы... убить могут? – уже с намернувшимися на глаза крупными слезами спросил ребенок.

– Что ты за глупости говоришь!.. Не смей!.. Слышишь? Никогда-никогда не смей больше повторять этого, противный, гадкий мальчишка!

Вся вспыхнув, с прерывающимся от волнения голосом, с мгновенно брызнувшими горячими слезами, Женя выбежала из комнаты, оставив там недоумевавшего, огорченного и растерянного братишку.

В день отъезда все в доме поднялись спозаранку. В одиннадцать часов был назначен молебен, после чего Сергей и Кити должны были тронуться в путь. С заплаканными лицами, распухшими от слез глазами, безмолвно и бесшумно, словно тени, сновали по всем направлениям печальные фигуры. Не говоря уже о старушке Василисе, с первого дня появления на свет растившей и хóлившей свою ненаглядную «Богоявленочку» и черноглазого любимца Сережу; о горничной Малаше, безгранично привязанной к обоим барышням, – вся девичья разливалась рекой, оплакивая отъезжавших.

В привычных, ловких руках старика Данилыча, всегда проворных и бесшумных, то и дело ударялись друг о дружку тарелки, гремели ножи и вилки, падали на пол серебряные ложки. И осанистый бородатый кучер Лаврентий, и скупая на добрые чувства ключница Анфиса, и старик-садовник – словом, все, как один человек, вся дворня и деревня душевно сокрушались об отъезде молодых господ, простых и ласковых в обращении, не гнушавшихся их крестьянских делишек и нужд. Глубокие, искренние вздохи вырывались из бесхитростных, детски привязчивых сердец.

В кабинетике Трояновой, соединяющем ее спальную с комнатой девочек, прижавшись лбом к холодному стеклу окна, стоит Женя и смотрит на серый неприветливый день, на хмурое, обложеное тучами небо. В бледном личике девочки все время подергивается что-то, дрожит малейший мускульчик, каждая жилка. В выражении глаз сквозит лихорадочное волнение; холодные пальцы нервно барабаниют по стеклу.

Девочка напряженно, нетерпеливо ждет. При малейшем движении, раздающемся в комнате матери, она, полная ожидания, порывисто поворачивается к двери. Но шум стихает; снова слышится мерное, как ручей, журчание голосов; девочка, разочарованная, опять прижимает к стеклу свой разгоряченный лоб.

– Боже, как долго! Когда же, когда ж он выйдет? А вдруг я не успею?! Придет батюшка, начнут торопить, помешают...

Тоска сжимает сердце Жени: она вот-вот заплачет.

Уже почти полчаса караулит здесь девочка. Сережа пошел напоследок поговорить с глазу на глаз с матерью. И вот Женя ждет его выхода – ей так, так нужно, так важно, необходимо видеть его, его одного!

Наконец раздался стук отодвинутого кресла, минутное затишье, потом шаги; на пороге распахнувшейся двери появился Сережа. Глаза его заплаканы, выражение лица взволнованное и размягченное.

– Сережа, милый, я столько времени жду, мне так страшно нужно видеть тебя, теперь, сейчас, пока никого нет, – рванулась ему навстречу девочка. – Пойдем сюда, в нашу комнату, там ни души. Скорей же, скорей! – она торопливо тянула его за руку. – Миленький мой, дорогой мой, я хочу раньше, чем другие, первая хочу проститься с тобой, благословить тебя и так, чтобы никто не видел. Потом свои, чужие, все пусть потом, но я раньше, я раньше всех...

Девочка страшно волновалась, голос ее срывался чуть не на каждом слове.

– Дай, я перекрещу тебя, хорошенько перекрещу.
Женя тщательно сложила пальцы и, глядя на Сережу горящими, полными веры глазами, трижды осенила его крестом.
– Во имя Отца... и Сына... и Святого Духа... – медленно, глубоко прочувствованным голосом произнесла она.
И из ее глаз, из глаз юноши катились умиленные светлые слезы. Сережа хотел поцеловать благословлявшую его холодную, как лед, маленькую руку.
– Пстой, пстой, погоди! Еще не все, – остановила его девочка. – Еще иконой надо... И водой святой окропить. Пусть отец Александр тоже потом, но раньше я, я сама.
Как бы соображая что-то, Женя оглянулась по сторонам.
– А святой воды-то и нет... – в нерешительности на секунду остановилась девочка. – У няни разве взять?..
Вдруг ее, видимо, осенила какая-то мысль. Торопливо став на стул, она сняла со стены икону, изображающую Спасителя, еще секунду, соображая что-то, простояла на стуле, затем поспешно спрыгнула.
– Поцелуй! – поднесла она к лицу Сергея образ.
Тот, набожно перекрестившись, исполнил требуемое.
– А теперь я покроплю тебя святой водой.
Женя приблизилась к умывальнику, чуть не до краев налила в миску воды, затем, перекрестившись сама, троекратно окунула икону в воду, тем же глубоким голосом повторяя:
– Во имя Отца и... Сына... и... Святого Духа...
Зачерпнув рукой воды, девочка обильно окропила голову, грудь, спину, руки и ноги Сережи.
– Не вытирай!.. Не вытирай... – страстно воскликнула она, когда юноша, достав носовой платок, хотел осушить струями катившуюся по его лицу и затылку воду. – Не вытирай! Пусть течет, пусть всюду-всюду попадет, это сохранит, спасет тебя, вот увидишь, увидишь!
Такая глубокая убежденность, такая непоколебимая вера была в словах, в голосе, и, главное, в выражении глаз Жени, что Сережа покорно спрятал платок и лишь рукой смахнул не дающие ему открыть глаза капли воды.
Бережно вытерев образ, девочка водворила его на прежнее место.
– А с водой как же? Ведь она святая, в ней икона была, выливать,охрани Бог, нельзя...
На секунду она, растерянная, остановилась.
– Ну, понятно! О чем я только думаю! Выпить ее нужно, конечно. Ведь я тебя только снаружи окропила, чтобы Господь сохранил от пуль, от пушек... А это внутрь, чтобы не заболеть. Мы вдвоем с тобой ее и выпьем: ты для спасения от болезни, а я за твоё здоровье. Только мы двое, больше никто ни капли.
Торопливо зачерпнув полную кружечку, употреблявшуюся для полоскания рта, Женя поднесла ее Сереже.
– Сперва ты, потом я.

Юноша покорно выпил. Кружка уже много раз перешла от Сережи к Жене и обратно, между тем воды оставалась еще добрая четверть.

Добросовестно было выпито еще по две порции. Каждый новый глоток требовал, по-видимому, все больших усилий. Сережа озабоченно глянул на дно миски; туда же был устремлен и тревожный взгляд Жени.

– А что, может быть, еще кому-нибудь дать воды? – робко предложил Сережа.

– А кому? – невольно поддаваясь искушению разрешить так просто непосильную, казалось, для них двоих задачу, осведомила Женья.

– Не знаю, право... Может, няне, Китти?.. – неуверенно, еще более робко продолжал юноша.

Минуту Женья колебалась. Соблазн был велик: количество выпитой воды тяготило ее.

– Нет, нет! – вдруг энергично запротестовала она. – Ни за что!.. Нашу воду, которой я благословляла тебя?! Ни за что! Да тут уж совсем немножко осталось, кружечки по две, не более.

Зачерпнув снова, она торопливо выпила одну, поднеся вторую Сергею. Несмотря на искреннее желание не огорчить, пожалуй, даже не оскорбить девочку, Сережа чувствовал, что не в состоянии безнаказанно сделать ни одного лишнего глотка.

– Прости, Женечка, не могу, совсем не могу больше, – виновато пробормотал он.

– Ну, тогда я все допью! – решительно проговорила Женья и, закрыв глаза, самоотверженно залпом осушила оставшуюся в миске воду.

– Теперь... простимся... – несколько отдышавшись и придя в себя, промолвила девочка; последнее слово застряло у нее в горле. – А то кто-нибудь войдет, а я хочу, чтобы только мы двое. Сперва дай хорошенько-хорошенько, долго-предолго наглядеться на тебя, – Женья двумя руками взяла голову Сережи, – чтобы запомнить... каждую черточку, каждую жилочку, ведь когда-то опять... увидимся.

Пристально, любовно и грустно, не отрываясь, смотрела Женья в это дорогое ей лицо; поспешно, нетерпеливо смахивала она набегавшие слезы, мешавшие в эти последние, сосчитанные минуты наглядеться «в запас», на долго-долго, до новой встречи.

– А теперь скажи, что ты меня любишь, что простил мне все, все простил: и то, что я сказала тогда у мамá в будуаре, и... что... я басурманка... Сережа, ведь я не виновата! Я так, так ненавижу их! А вас, тебя, я так люблю, так люблю!.. Я все время буду думать о тебе, каждую ночь буду вставать и молиться. Именно ночью, когда кругом тихо, никого, только я да Бог. Лицо у Него тогда особенно доброе, кажется, Он все-все сделает, что ни попроси. Вот я и буду просить сохранить папá, Китти, тебя, моего дорогого, моего любимого, самого любимого. Ну, скажи, скажи, что ты любишь, не сердись, крепко-крепко любишь!..

Торопливо и страстно сыпала девочка словами; душа была переполнена, а точных выражений не находилось; нескладно, повторяясь, твердила она одно и то же.

– Люблю, крепко люблю своего дорогого золотого Жучка, своего маленького, хорошего, – растроганно говорил Сережа.

– Так и ты перекрести и обними меня на... прощание.

Сережа бережно обнял девочку и, ласково водя рукой по ее вьющейся головке, старался, как маленького ребенка, успокоить это любящее, глубоко огорченное существо. А она, крепко обхватив его шею своими тоненькими руками, плакала навзрыд, захлебываясь и вздрагивая всем телом.

Несколько минут простояли они молча. Но раздался стук колес, топот лошадиных подков, многочисленные шаги приближавшихся людей.

– Собираются! – встрепенулась Женя, поднимая с плеча Сережи залитое слезами, покрасневшее личико. – Пойдем, пусть никто сюда не входит, – тянула она его к двери.

В последний раз порывисто обняв и осенив еще одним размашистым крестом Сережу, девочка распахнула дверь и вместе с ним вышла из комнаты.

Хотя накануне своего отъезда Китти навестила старушку Муратову и простилась с ней, напутствуемая самыми теплыми благословениями, Марья Львовна все же не вытерпела и захотела еще раз взглянуть, еще раз обнять дорогую ей девушку. Не щадя своих сил, своего окончательно расшатанного событиями последнего времени здоровья, она предприняла это тяжелое для нее путешествие, решила сделать двенадцать верст, отделявших Муратовку от Благодатного. Стук колес именно ее экипажа заставил очнуться Сережу и Женю.

Как к единственному, еще согревающему и озаряющему ее уходящую жизнь источнику, старушку неудержимо тянуло к этой светло-русой девушке с ясными глазами и с хрустально чистой душой. На ней, казалось, сосредоточивались вся нежность, вся забота и ласка этого больного сердца. Светлой тенью, дорогим отблеском преждевременно угасшего любимого сына являлась для бедной матери невеста покойного. Она была ей ближе родной дочери, еще девочки.

Хотя Нелли и поразила смерть брата, хотя она оплакивала его горячо и искренне, но для нее эта потеря не имела, не могла иметь того потрясающего значения, той страшной, ничем невозполнимой пустоты, которую смерть производит в сердце матери и беззаветно любящей невесты. Все в Китти ежеминутно говорило Марье Львовне об ушедшем, а последний ее поступок – решение посвятить себя служению несчастным, опять-таки в память Юрия, еще теснее, еще прочнее сблизил их: что было не под силу больной, исстрадавшейся пожилой женщине, о чем, в тоске по своей немощности, лишь тщетно мечтала одна, словно подслушав, поняла и привела в исполнение другая, молодая и сильная телом.

Отец Александр начал молебен. В громадном зале было жарко, душно и тесно; не хватало места и воздуха для всех, желавших помолиться за отъезжавших, проститься с любимыми молодыми господами.

Потоки искренних слез лились неудержимо. Всхлипывали молодые женщины и девушки, подергивались от рыданий морщинистые старческие лица, утирали глаза мужики и парни.

Глубоким восторгом были проникнуты эти простые бесхитростные сердца перед подвигом молодых господ. Особенно умиляла всех Китти, эта молодая красавица барышня, не пожалевшая себя, идущая на тяжелый, страшный труд.

– Голубонька сизокрылая! Подвижница святая! Да сохранит тебя преблагой Господь и сонмы ангелов его светлокрылых! – проговорил седой, как лунь, старик по окончании молебна, подходя к Китти, и, с усилием согнув свои слабые, дрожащие колени, поклонился девушке в ноги.

Дряхлая, согбенная старушка Пелагея, которую постоянно навещала и лечила Китти, с трудом дотащила из деревни до господского дома. Со струившимися по морщинистым щекам слезами, полная горячего чувства любви и тревоги за это молодое, самоотверженное существо, женщина в простоте своего преданного сердца охватила грубыми, мозолистыми ладонями голову девушки.

– Ясочка моя светлая! – растроганно глядя в лицо Китти, заговорила она. – Душа твоя ангельская, за больных и сирых печальница, не побрезговай моим старушечьим благословением! Пусть оно сохранит тебя в твоём святом подвиге от напастей, болезней и вражеских измышлений...

Пелагея дрожащей рукой трижды осенила девушку широким крестом. Никого не поразил поступок старушки, никому не показался он странным или неуместным. В ту минуту истинная глубокая печаль сроднила, слила воедино сердца господ и крестьян: все казались равными перед властью охватившей их громадной скорби.

Все готово. Лошади у крыльца. Ещё последние порывистые, тоскливые объятия, последние поцелуи...

Вот первый роковой оборот колеса, второй, третий... Отъезжающие машут платками. Все дальше и дальше в страшное, туманное неизвестное отходят эти светлые флажки, все уменьшаются, тускнеют они, становятся едва заметными, светлыми пятнами. Вот исчезает и последняя светлая точка.

Темно, холодно, пусто стало в осиротевшем гнезде; впервые вылетели из-под заботливого материнского крыла два выхоленных дорогих птенчика, выпорхнули в широкую холодную даль, в тревожное и бурное житейское море.

Крепко обнялись Троянова с Марьей Львовной. Особенно близки стали они друг другу: о чем плакала, скорбела одна, уже осиротевшая мать, перед тем с этой минуты начало неустанно трепетать сердце другой.

Прильнув к плечу Василисы, вздрагивая всем телом, неудержимо рыдала Женя. Плакала и сама Василиса, тщетно пытавшаяся успокоить девочку; плакала вся прислуга, вся дворня, будто застывшая на тех местах, на которых

оставила их отъехавшая коляска. Не расходясь и не сводя глаз с длинной аллеи, стояла толпа, словно ожидая еще чего-то.

А слезы текли и текли, дружные, обильные. Кажется, с самого первого дня своего существования еще не видывало таких слез прежде счастливое и беззаботное Благодатное.

ГЛАВА 8

Давно уже сбросили густолиственные хранители Благодатного свои причудливые осенние наряды. На этот раз они недолго красовались в золотистых мантиях, разукрашенных кораллами: разгневанная осень преждевременным холодным дуновением самовластно сдернула с них позолоченные кружевные ризы. И они падали, осыпая подножия своих владык пурпурным и янтарным дождем, взвиваясь и кружась пестрыми стаями по еще зеленой траве, по усыпанным гравием дорожкам.

Расходившаяся осень свирепела все больше, все гневней, грозней становилось ее дыхание: сердитой рукой она срывала последние поредевшие покровы со стыдливо жавшихся друг к другу кустов и деревьев. Поблекли, засохли их разметанные золотистые кудри, их ярко сверкавшие сережки; обесцвеченной серой вереницей с сухим шелестом они носятся по побуревшему газону, по замершим молчаливым аллеям.

Плачут иззябшие, испуганные молодые деревца, и кустарник, потрясаемый безжалостным ветром, роняет обильные прозрачные слезы.

Но гигантские старики-деревья не хотят гнуть гордые головы перед сумасбродным удалцом-ветром; суровые, они злобно шумят, протестуя против совершенного над ними насилия; грозно раздается их недовольный, бушующий ропот. Безжизненна, сера и уныла умершая природа.

Невесело и внутри большого дома в Благодатном.

Целых четыре недели прошло с отъезда Китти и Сережи. За все время от них была получена только одна весточка, привезенная вернувшимися домой сопровождавшими их людьми. Из нее было известно, что тяжелый и не совсем безопасный путь совершен благополучно, что они, целые и невредимые, доставлены к отцу, который сам позаботится об их дальнейшей участи. Вот и все. Одно утешение было у Трояновой, что муж на первых порах не пустит Сережу в пыл сражения, побережет его...

За сына она была несколько спокойнее, но Китти... Разве существует такое место, где не подвергалась бы опасности сестра милосердия? Ее назначение – быть либо в центре очага заразы, либо вблизи свистящих снарядов и залпов орудий, где какое-нибудь шальное ядро, даже случайно залетевшее, может в один миг прекратить жизнь.

Военные события между тем шли своей кровавой чередой. Даже доблестное Бородинское сражение, светлой незабвенной славой озарившее самоотверженных его участников, не заставило неприятеля отступить, не спасло Москву от ее горькой участи. Не отвратило оно от России и страшного, болезненного удара – необходимости сдать врагу этот дорогой народному сердцу город, златоглавую Первопрестольную, со священным Кремлем, гробницами царей, чудотворными иконами, святынями, – эту

сокровищницу русской земли. Снова было принесено в жертву многострадальное сердце страны, уже столько раз своей кровью, своими муками спасавшее могущество и славу России.

После того как французы заняли Москву, положение окрестных местностей стало далеко не безопасным. Разношерстная, сбродная наполеоновская армия, опьяненная успехом, жадная до легкой наживы, не довольствуясь уцелевшим имуществом столицы, расхищенным ею, сновала толпами по большим дорогам, бесчинствуя, грабя и наводя ужас на помещиков. При таких условиях не могло быть и речи о правильной пересылке и получении писем от находившихся на полях сражений.

Хотя Благодатное стояло в стороне от пути следования французской армии, тем не менее старик Сазонов, друг и приятель Трояновой, убеждал ее перебраться в их другое имение, находившееся в Псковской губернии. Но Анна Николаевна наотрез отказалась. Неизбежной, очевидной опасности не представлялось, здесь же, по крайней мере, она была ближе к Москве, ближе ко всем событиям, совершавшимся там. Сюда нет-нет да и могла проникнуть какая-нибудь случайная новость, какая-нибудь неожиданная радостная весточка.

Сведения, действительно, проникали, но, Боже, как далека была от них радость!

В большинстве случаев новости привозили люди, окольным путем пробравшиеся в Благодатное, или спасшиеся из занятой врагом Москвы, или случайно встретившиеся с очевидцами, а иногда сами невольные свидетели какого-нибудь зверства, грабежа или насилия, учиненного французами.

Так однажды пришло известие, что под Бородином убит Андрей, муж красавицы Катерины, отец пятерых малюток; другой раз, что французы искрошили Василия, младшего и единственного уцелевшего в живых сына старухи Варвары, жившей на самом краю деревни. Те же люди привозили чудовищные рассказы о жестокостях, чинимых бродячими французами над беззащитными детьми и девушками.

От этих, быть может, даже и сильно преувеличенных рассказов злоба накоплялась, росла; ненависть закипала в сердцах, и страстные проклятия сыпались в адрес «иродова племени», «проклятого нехристя», «басурмана француза».

Женя казалась совершенно подавленной. Она заметно похудела и вытянулась за последнее время. В расширенных карих, без блеска, глазах застыло выражение вечной тревоги и какой-то растерянности. Отсутствие Сережи и Китти, неизвестность относительно того, что делается с ними, долетавшие известия о смерти того или другого знакомого, рассказы о зверствах французов – все накладывало свою тяжелую печать на восприимчивую натуру девочки. Но, видимо, что-то еще, ее собственное, тайное, недоступное постороннему глазу тяготило это детское сердечко.

Жене, действительно, было очень тяжело. Необузданные, взбалмошные слова, сказанные Сереже в минуту раздражения, не дают ей покоя; они так и

звучат в ее мозгу. Иногда ночью девочка лежит с широко открытыми глазами, а слова звенят и звенят.

«Боже, Боже, что теперь с Сережей? Где он? – тоскливо думает она. – Вдруг с ним уже случилось что-нибудь? Может быть, вот теперь, сейчас, в эту самую минуту?»

Объятая ужасом, девочка вскакивает, садится на кровати, охватив рукой колени, опирается на них подбородком и думает свою невеселую думу.

«Вдруг Бог запомнил мои слова и, чтобы наказать меня, исполнит то, что я сказала? Господи, забудь! Господи, прости!.. – беззвучно молит Женя. – Ведь тогда я, одна я буду виновата в том, что случится с Сережей, я, которая так любит, так любит его... Что ж тогда делать, что?»

И в воображении девочки вырисовывается отдаленный, глухой уголок сада, холодный темный пруд, окруженный раkitами и вечно плачущими ивами.

«Тогда туда, в середину, – решает Женя. – Больше ничего не остается. А с мамой, с мамой что будет? Как она переживет несчастье с Сережей? Моя мамочка, моя милая, бедная мамочка! – несется дальше тоскливая мысль. – Она не перенесет, не забудет, а мне никогда, никогда не простит и совсем-совсем разлюбит. Она и теперь уже больше не любит меня...»

Девочке мерещится скользкий, словно уплывающий куда-то взгляд Трояновой, ее рассеянные ласки и молчаливость. С лихорадочным напряжением Женя следила за матерью и во всех этих признаках острой тревоги за участь детей, величайшей, ни на секунду не покидавшей женщину озабоченности видела охлаждение к себе.

Тоска сжимает сердце Жени. Босиком, в одной рубашонке, девочка бросается на колени перед киотом.

– Господи, забудь, забудь, прости! Помилуй, спаси и сохрани Сережу! Спаси маму, спаси меня, всех нас спаси! Сохрани мне любовь мамы, чтобы как прежде, как раньше любила меня... – страстно молит девочка, с орошенным слезами лицом кладя несчетные земные поклоны.

Женя вся закоченела, холод подергивает ее плечи. Она уже собирается лечь в постель, но вдруг волна горячего раскаяния, жалости, любви к матери, потребность сейчас, сию минуту открыть ей все, чем переполнено сердце, прижаться к ее груди неудержимо овладевает девочкой.

Девочка, по-прежнему босая и неодетая, проходит комнату, отделяющую спальную матери от ее, и приоткрывает дверь.

Тихо и почти совсем темно.

«Неужели спит?» – недоумевает Женя.

Сон так далек от нее самой, что она не представляет себе, как может спать другой человек.

Но Троянова не спит, ей не спится. Тяжелые, тревожные грезы наяву – вот всегдашние неизменные посетители этих томительных, длинных ночей.

– Кто там? – спрашивает она.

Ответа нет, но в то же мгновение Женя оказывается на коленях у кровати матери.

– Женечка, ты? – удивленно и встревоженно говорит женщина. – Ты вся дрожишь, ты совсем холодная. Что с тобой, детка? Ляг скорей ко мне под одеяло, обогрейся... – она приподнимается, чтобы дать место дочери.

– Нет, нет, я не могу, не смею лечь около тебя. Я только тут, на полу... Пока ты не простишь, не скажешь, что можешь простить меня... – задыхаясь, страстно и торопливо говорит Женя. – Ты ведь слышала, ты помнишь, что я сказала тогда, когда Сережа собрался ехать на войну? Такое страшное, ужасное... Мамочка, простит ли Бог, забыл ли Он мои слова? А если помнит, если накажет, и тогда... – девочка не может договорить. – Тогда, тогда и я жить не буду, тогда я туда, в пруд... Бог не простит, и ты, ты никогда не простишь, совсем, совсем разлюбишь... – больше девочка не могла говорить.

– Христос с тобой! Что ты сказала, Женя? Разве можно даже думать о таких вещах! Ведь это грех, великий грех! Успокойся, моя крошка, успокойся, моя маленькая. Господь, конечно, давно простил, забыл твое необдуманное слово. Он так милосерден, а ты так горячо, так искренне каялась, так выстрадала свою вину. Он сохранит нам нашего дорогого Сережу, будем надеяться, будем верить. А теперь ляг, ляг скорее ко мне под одеяло, ты вся дрожишь, еще простудишься, заболеешь!

Женя хотя и слабее, но все еще упиралась.

– А ты, ты простила, да? И любишь? Скажи же, скажи скорее, любишь?..

– Люблю, крепко люблю свою хорошую, славную дочурку, только, ради Бога, ложись скорее, я так боюсь, вдруг ты заболеешь.

Через секунду девочка лежала, нежно прижавшись к Трояновой. Все тревоги, печали, все страшные видения и укоры совести – все, словно по волшебству, поплыло куда-то далеко-далеко. Свободно вздохнула стесненная грудь, теплом и любовью повеяло в измученное сердечко. Давно уже так крепко, сладко не спала она, как в эту ночь, на плече горячо любимой и – теперь Женя сознавала, чувствовала это – любящей ее матери.

Но не одна эта тревога давила Женю, была в душе ее и другая наболевшая точка. Когда пришло известие, что убит Андрей, оно страшно поразило Женю. Как хорошо помнила, как любила она этого рослого, веселого чернокудрого мужика, работающего и трезвого; он был всеобщим любимцем, первый балагур и запевала в деревне.

Женя прекрасно знала и его жену, Катерину, статную, чисто русскую красавицу со смеющимися карими глазами, с приветливой улыбкой, открывавшей крупные белые, как миндаль, зубы. Знала и ее пятерых всегда чистеньких, кудрявых, черноволосых и смуглых, как цыганята, ребятишек. Семья эта считалась на селе образцовой, и старухи всегда ставили Катерину в пример своим ленивым и неопрятным снохам.

Знала Женя, как нежно любила Катерина мужа, как тосковала, прощаясь с ним. Помнила, как он, молодцеватый и сильный, в числе первых бодро, почти весело шел на войну, как лихо звучали его угрозы в адрес ненавистного неприятеля. Все особенно ярко вставало перед Женей, и глубокая жалость к бедной овдовевшей женщине охватила ее.

Наскоро одевшись, она в сопровождении верной Малашки почти бегом направилась в деревню, к знакомой избе.

Катерина сидела, безнадежно уронив на колени свои сильные загорелые руки. Она даже не поднялась, когда Женя вошла. Тонкие губы были плотно сжаты; большие глаза наполняли крупные горькие слезы.

Они катились по красивым щекам, по круглому подбородку и, срываясь с него, падали тяжелыми каплями на сарафан, спеша очистить дорогу новым и новым струям, безостановочно следовавшим друг за другом.

Прижавшись к матери, пряча в ее плечо свои заплаканные мокрые лица, стояли двое старших детей. Трое младших, забившись в уголок избы, сидя на полу, тоже вытирали слезы со своих печальных мордашек.

– Катеринушка, милая, бедная, славная ты моя! – ласково проговорила Женя, почти плача сама при виде этой трогательной, грустной картины. – Боже, Боже, как это ужасно! Андрей, такой молодой, такой веселый, такой здоровый, и вдруг!.. Не плачь, бедная, не плачь, родная моя! Ты подумай, как хорошо, как славно он умер. Он у Бога в раю, где ангелы, где души праведников, где святые... – утешает Женя женщину.

Но от звука ласкового голоса, от теплых слова участия еще обильнее, еще торопливее катятся слезы Катерины. Глухое рыдание поднимает ее высокую сильную грудь, потрясает молодое тело. Горе матери усиливает плач малюток.

Женя смотрит на эти примостившиеся в уголке черненькие кудрявые головки осиротевших ребятишек, и острая жалость, любовь, желание чем-нибудь утешить их охватывают ее.

И вот девочка уже среди малышей, рядом с ними на полу. Она обнимает, гладит по головке, целует эти заплаканные, печальные мордашки.

– Не плачь, не плачь, миленький, не плачь, мой мальчик! – успокаивает она то одного, то другого. Вот лучше послушай, что я тебе скажу, хорошее-хорошее скажу. Когда я следующий раз приду, я принесу вам всяких игрушек, хотите? Много-много всяких игрушек и гостинцы тоже. Ты любишь гостинцы? И ты тоже? И ты? Вот и отлично, я вам принесу вкусного-превкусного, – обещает Женя.

Двое старших продолжают еще утирать катящиеся слезы, в больших же черных глазах самого младшего, внимательно и с любопытством глядящих в лицо девочки, они уже остановились.

– А когда? – задает он вопрос.

– Вот следующий раз, как приду. Завтра, – поясняет Женя.

– А почему не теперь? – настаивает мальчуган.

– Почему не теперь? – повторяет за ним Женя. – А правда твоя, можно и сейчас, – вскакивает она с пола. – Вы тихонько посидите, только не плачьте, ни-ни, не плачьте, а я схожу домой и всего-всего принесу.

Девочка уже у порога.

– Боречка, милый, – через несколько минут она ураганом влетает в комнату братишки. – Дай мне поскорее игрушек, побольше, тех, которые тебе не нужны, я отнесу Катерининым детям. Только скоренько!

Мальчик, не задумываясь, нагибается над большим ящиком со всякой всячиной, и в руках Жени одна за другой появляются различные вещи.

– Дай вот это, можно? – спрашивает сестра, указывая на довольно больших размеров серую бесхвостую и одноухую деревянную лошадь.

Сильное колебание и нерешительность видны в Боре: он сам очень любит эту лошадь, особенно бережет и жалеет ее с тех пор, как в битве с Наполеоном она потеряла хвост и правое ухо.

– Дай, миленький, – настаивает Женя. – Вот они обрадуются! Ты знаешь, они такие несчастные, ведь их отца, Андрея, на войне убили. Они так плачут, и они, и Катерина.

– Андрея французы убили? А они как же теперь без папы? – растерянно смотрит на сестру Боря.

– Да так вот и плачут страшно, – поясняет сестра.

Колебания мигом оставляют щедрого, сердобольного мальчугана.

– На, вот, на! Скоренько неси! И еще вот эти картинки, и зайчика, и кубики, и...

– Довольно, довольно, – останавливает Женя растроганного братишку, готового, кажется, все отдать в эту минуту.

– Довольно, лучше другой раз отнесем.

Захватив по дороге еще целый запас всяких сладостей, девочка, как ветер, мчится обратно в деревню.

Не дойдя нескольких шагов до пригорка, на котором стоят дома, Женя заметила спускавшуюся с него высокую сухую фигуру старухи, опиравшейся на длинную палку. Желтое, как пергамент, ее лицо, изборожденное глубокими морщинами, суровая складка между седых бровей, заостренные резкие черты, подозрительно глядящие исподлобья холодные глаза делали выражение этого старческого лица непривлекательным и даже жутким. Недаром деревенские ребятишки побаивались бабушку Варвару; не любили заглядывать в ее глаза и взрослые: впечатление какого-то злобного, мстительного призрака производила эта старуха.

Нелегко прошла жизнь несчастной. Еще в ранней молодости потеряла она горячо любимого мужа, попавшего под мельничное колесо. А потом постепенно схоронила шестерых детей. На Василии, единственном уцелевшем сыне, сосредоточилась вся привязанность, еще сохранившаяся в

ее озлобленном сердце. И вдруг пришла страшная весть о том, что французы изрубили его в куски.

Еще больше заострилось лицо Варвары, глубже ввалились суровые глаза, согнулся высокий костлявый стан.

Со времени последнего постигшего старуху несчастья Женя еще не видела ее.

– Здравствуй, бабушка Варвара! – ласково проговорила девочка, поравнявшись с ней. – Ну, как поживаешь? Мы очень огорчились, узнав о твоем горе, и очень, очень сожалеем о бедном Василии, – участливо добавила Женя.

Злобная улыбка искривила губы старухи:

– Премного благодарна, матушка барышня, за честь. Али чего тебе, красавица, жалеть об нем? Чай, не сродственником тебе Василь-то мой доводился? – бросая злобный взгляд на девочку, резко отчеканивая каждое слово, промолвила старуха.

– Ну, что ты, Варварушка, конечно жаль, как же иначе? – сбитая с толку недоброжелательным тоном женщины, растерянно проговорила девочка.

– На что по чужим-то горемычиться? Об своих лучше поплачь, – ядовито подчеркивая голосом и останавливая на Жене острый, недобрый взгляд, уронила Варвара.

Женя окончательно растерялась.

– Ну, до свидания, бабушка, будь здорова, – поспешно проговорила она, торопясь уйти.

– Буду, буду здорова, твоими православными молитвами да радостью своей великой крепка да сильна буду, – уже с нескрываемой ненавистью глядя на Женю, прошипела старуха.

Женя вздрогнула и быстро пошла к избе.

– Французье проклятое! Извести бы тебя всю дотла, антихристово племя, – отчетливо раздалось ей вслед.

Колени девочки задрожали, ей казалось, что она сию минуту упадет.

Все оживление, вызванное мыслью о том, какую радость она сейчас доставит маленьким плачущим ребятишкам, померкло. Больно-больно защемило в сердце. У Жени было чувство, будто кто-то только что ударил ее.

Бледная и расстроенная, вошла она в избу Катерины. Женщина по-прежнему сидела в той же позе, и слезы по-прежнему текли по ее лицу, но кудрявые, черные головки при появлении Жени с любопытством и написанным на их лицах ожиданием повернулись к двери. Ручонки самого маленького карапуза

издали тянулись к игрушкам; он, конечно, не мог их еще разглядеть, но горел нетерпением скорее получить в собственность.

– Вот это зайчик, а это лодка, ее можно на воду пускать, а это медведь, сердитый Мишенька-медведь, – поясняла Женя. – А это лошадь, на нее можно сесть. Ну, полезай ты сперва, а потом ты, все по очереди, – и она, приподняв, усадила верхом маленького мальчугана.

Высохли слезы, заискрились глазки, и хоть на время острое горе малюток было утешено.

От детской радости у Жени прояснилось на сердце; страшный образ Варвары, ее злобные слова затушевались видом приветливых детских мордашек, этими звенящими радостью голосками.

Высохли слезы, заискрились глазки, и хоть на время острое горе малюток было утешено.

– Мамка, мамка, погляди! Во лосадка, а во утоцка, а во-о ми-иска, – таща к матери все полученные сокровища, восторженно лопотал самый маленький, сделав комичнейшую гримаску и во всю ширину распахнув черные глаза.

На минуту что-то светлое пробежало и по лицу обернувшейся на зов малютки матери. Взгляд ее ласково и растроганно остановился на Жене.

– Барышня, солнышко ты наше ясное! Голубка ты наша сизокрылая! Воздаст тебе Господь многомилостивый за доброту твою, за то, что сирот горемычных не погнушалась, слезы наши холопские отерла! Светочка моя, ясочка, желанная ты моя!.. – и, плача растроганными теплыми слезами, Катерина нагнулась к руке Жени.

Но девочка, отстранив ее, ласково положила обе руки на плечи женщины.

– Катеринушка, милая, правда? Ты любишь меня? – вся просветленная, смотрела ей Женя прямо в глаза.

– Да нешто можно не любить тебя, сердешную, ангела светлого? – возразила женщина.

– Ну, если любишь, так поцелуй, не в руку, нет, в лицо поцелуй!

Девочка уже прижимала свою нежную щечку к заплаканной смуглой щеке Катерины. После только что пережитого там, на улице, бесхитростные слова доброй женщины, ее простая, сердечная ласка светлым лучом согрели и осветили сжавшееся от боли сердце девочки.

Но ненадолго повеселела Женя; опять тоска сосет ее: маленькую ранку, нанесенную однажды неосторожной шуткой Сережи, разбередили злобные слова Варвары.

«Ох, как ненавидит она меня! – с горечью думает девочка. – Как ненавидит!.. Да, верно, не одна она. Конечно, ненавидят все, все решительно, но те молчат, а эта взяла прямо и сказала».

Невольно подтасовывая факты, Женя припоминает отношение к себе окружающих, и неприязнь, недоброжелательство, скрытые или явные, мерещатся ей всюду.

«Боже мой, Боже мой, за что? За что я такая несчастная? Все, решительно все счастливее меня: и Матреша, и Степка, и птичница Дарья, которую муж, говорят, так страшно колотит. Что ж, что бьет? Что за беда, если больно? Зато никто не ненавидит, не презирает ее. И Катерина, и эта самая Варвара, они во сто, в тысячу раз счастливее меня. Их все любят, все жалеют, все уважают их горе, им нечего стыдиться, они – русские. Только я одна – пришлая, чужая, лишняя... басурманка! Да, да, конечно, все за спиной так называют меня, я всем, всем чужая... Я да вот еще мисс... Что это я? Разве можно нас даже сравнивать? Ведь она англичанка, а они не враги, не режут, не убивают наших, их никто не ненавидит, никто не проклиняет, как меня!..» Горько, сокрушенно плачет эта маленькая иностранка по происхождению, в душе такая ярая русская патриотка.

Что сделать, чтобы доказать всем, всем, как страстно любит она русских? Отчего она не мужчина? Она, как Сережа, пошла бы грудью своей защищать Россию. Почему ей всего пятнадцать лет, и она не может, как Китти, быть сестрой милосердия? Какие они все счастливые! Как завидует она Юрию, умершему на войне. Только одна она такая несчастная, только ее все презирают, никто не любит, не может любить...

И жажда подвига горит в сердце девочки, жажда принести себя в жертву, стать достойной любви и уважения. Но сколько ни думает Женя, ее возбужденный мозг ничего не может изобрести. И девочка ходит, как тень, словно потеряв под ногами почву, бродит с видом загнанного зверька. И что тяжелее всего для открытой натуры девочки, требующей все сказать, всем поделиться, так это сознание, что этого никому нельзя поведать, ни с кем заговорить – ни с няней, ни даже с мамой. Нет, нет! Может быть, они-то еще сами так не думают, забыли... А она им вдруг напомнит, наведет на мысль. И тогда все-все отвернутся от нее...

И жажда подвига горит в сердце девочки, жажда принести себя в жертву, стать достойной любви и уважения. Но сколько ни думает Женя, ее возбужденный мозг ничего не может изобрести. И девочка ходит, как тень, словно потеряв под ногами почву, бродит с видом загнанного зверька. И что тяжелее всего для открытой натуры девочки, требующей все сказать, всем

поделиться, так это сознание, что этого никому нельзя поведать, ни с кем заговорить – ни с няней, ни даже с мамой. Нет, нет! Может быть, они-то еще сами так не думают, забыли... А она им вдруг напомнит, наведет на мысль. И тогда все-все отвернутся от нее...

И девочка одиноко несет свое большое, гнетущее ее горе.

ГЛАВА 9

Словно утомленные упорной жестокой битвой, все реже, все слабее доносились грохочущие раскаты пушек, оглушительные залпы тысячи ружей. Вот раздался последний грозный орудийный выстрел. Со свистом простонал он над землей, совершая по пути свое страшное разрушительное дело, и, раскатившись глухим далеким эхом, замер во внезапно наступившей тишине холодной октябрьской ночи.

Безмолвия опустевшего, недавно грозно оживленного поля не нарушали распростертые на нем безжизненные и угасающие человеческие тела – жуткие, но красноречивые доказательства того, как самоотверженно умели до последней капли проливать кровь сильные духом сыны своей родины.

Глубокое безоблачное ночное небо, казалось, застыло в немом отчаянии над этой массой загубленных жизней. Крупные яркие звезды, смотрящие с него, ласково мигали из темной выси, спеша послать свой светлый привет и лучистую улыбку тускнеющим, угасающим очам славных героев-страдальцев.

Тысячи русских легли убитыми и ранеными в день этого памятного сражения. Зато оно заставило наконец очнуться Наполеона, этого баловня судьбы, не знавшего предела своей дерзости; заставило его пристально оглядеться, вдуматься и понять, что в своей алчности, в ненасытных, эгоистических поисках личной славы он зашел слишком далеко, что пора опомниться, вернуться; что каждый новый шаг вперед поведет к гибели, что звезда его слепого беспримерного счастья заволклась, что восходит новая светлая звезда – русской славы. Он понял, что дальнейшее пребывание в Москве становится опасным, и решил покинуть ее.

В наскоро сооруженном походном лазарете дело кипит ключом. Не покладая рук, без усталости, без передышки работают врачи, оказывая возможную помощь раненым и больным. А санитарные носилки все несут и несут новых страдальцев. Жалобно раздаются их стоны, мольбы о помощи. В расцвете жизни, полные сил и стремлений, борются некоторые со смертельными увечьями, заклиная спасти, сохранить надломленную в самом корне жизнь. Но искусство человеческих рук часто бессильно бороться с тем, к чему уже прикоснулась беспощадная рука смерти.

Постепенно и в этом очаге страданий затихает суетливая возня, лихорадочная торопливость: все реже появляются новые жертвы; срочная, неотложная работа, видимо, приходит к концу. Вот извлечены все пули, омыты все раны, сделаны необходимые перевязки.

Уже не так громки, не так раздирают душу крики и стоны несчастных. Напряжение страшного боевого дня, потеря крови от полученных ран, страдания при операциях истощают силы. Сравнительный покой, удобство, утоленная мучительная жажда, чувство внешней безопасности и принятые успокоительные средства – все производит свое благотворное действие. Лазарет затихает; если не сон, то все же легкое забытие овладевает больными, давая хоть некоторый отдых истощенному телу и духу.

Лишь одна тонкая женская фигура не ищет, даже не хочет найти отдыха. Она то там, то здесь появляется среди раненых. Стройный стан опоясывает белый передник с большим красным крестом на груди. На пышных светлых волосах надета белая повязка, какую носят сестры милосердия.

Лицо девушки бледно, почти прозрачно. Глубокие темные круги окаймляют утомленные синие глаза. Прозрачны тонкие кисти рук. Весь облик девушки кажется воздушным, призрачным, неземным видением, сошедшим сюда, в этот печальный очаг страданий и смерти, чтобы облегчить несчастным обреченным этот страшный переход, чтобы теплотой заботы и светом улыбки обогреть, озарить одинокие часы этих молодых и старых людей, равно страждущих в минуту разлуки с жизнью от своего одиночества, равно нуждающихся в бодрящем сочувственном взгляде. И светлая девушка ровно распределяет их: с одинаковой заботливостью помогает она у каждой койки, с одинаковой торопливостью бесшумно спешит на каждый зов, на каждый стон.

Как страдает этот немолодой, с уже седеющими висками офицер! Как не хочется ему умирать, и как даже в бреду инстинктивно он сознает приближение беспощадного призрака!

В разгоряченном мозгу проносятся, видимо, только что пережитые боевые картины, и тут же, рядом, без связи, без всякой последовательности, из какого-то тайника сердца выплывают любимые образы, с языка срываются ласковые слова, имена детей. Он мысленно с ними, он голубит, ласкает их. Жестокая смертельная рана, навсегда разлучающая его с дорогими сердцу людьми, вызывает этот сладкий бред, во время которого он в последний раз крепко прижимает к своей груди светлые родные головки, любясь дивным миражом того, чего не суждено ему увидеть в действительности.

А этот тридцатилетний, не более, красивый мужественный человек? Куда глядят с такой тоской его выразительные черные глаза? Этот не спит, не бредит. Предчувствует ли он свою недолгую жизнь? Хочет ли силой настойчивого напряжения вызвать дорогой образ из милого далека? Где витает его душа? Что недосказанного унесет он в своем сердце?

Девушка дошла до предпоследней из еще не обойденных ею коек. На ней лежит юноша, почти мальчик. Белокурые короткие завитки волос обрамляют большой открытый лоб. Невзирая на утомление и боль от раны, овал лица сохранил свои округленные, почти детские очертания. Над полуоткрытой верхней губой едва заметно золотится пробивающийся пушок. Большие голубые глаза как-то растерянно, по-детски печально смотрят перед собой. Все происшедшее: эта тяжелая рана, полученная им, эта страшная боль, эта больничная койка, эта вынужденная неподвижность его, всегда живого, как ртуть, не способного ни минутки усидеть на месте, – все придавило, ошеломило, выбило юношу из созданной его воображением колеи.

Видимо, этот полурбенок, как многие ему подобные в то время, охваченный горячим патриотическим чувством, рванулся на войну. В пылу своих мечтаний он спасал отечество, совершал геройские подвиги, пленял Наполеона. Только это он видел впереди и рвался за победой, забыв про существование опасности, про то, что она, коварная и неожиданная, может подстеречь, настигнуть его самого. Он – раненый? Он – убитый? Этого не было в его ребяческих мечтах, в его детском благородном порыве.

И вот он раненый, быть может, умирающий, лежит на твердой койке, а Россия не спасена, Наполеон не изгнан. И эта боль, такая острая, невыносимая, и жар, страшный жар внутри. Неужели это смерть?

Ужас примешивается к удивлению, сквозящему в его взгляде; чисто детские слезы, слезы страха, жалости к самому себе, сознание своего одиночества, оторванности от заботливой руки, от любящей материнской ласки наполняют его глаза.

– Сестрица, пить, – чистым юношеским голосом просит он.

Девушка торопливо склоняется над ним и, чуть-чуть поддерживая его голову, подносит кружку к засохшим лихорадочным губам. В то же время ее глаза с бесконечной грустью и нежностью останавливаются на этом молодом лице; острая жалость к совершенно незнакомому юноше, которого она видит в первый раз, охватывает ее.

Он понял немую ласку, зародившееся в сердце девушки участие. Теплом, таким родным и далеким, повеяло на него; ему точно полегчало, вместе с тем стало как-то особенно жаль самого себя, особенно ясно почувствовалась вся

горечь теперешнего положения. Под наплывом этого ощущения, полный доверия к чудной, самоотверженной девушке, он смотрел в ее светлое кроткое лицо.

– Скажите, ведь я не умру, не умру? – дрожащим от страха и надежды голосом спросил он сестру милосердия; блесевшие в глазах слезинки покатались по его щекам.

Жалость еще глубже охватила сердце девушки.

– Что вы! Господь с вами! Вам рано умирать, вы так молоды. Бог милостив! – ласково проговорила она.

– Да? Вы думаете? Вы думаете, я буду жив? – радостно засветились его глаза. – Но почему же такая страшная боль? А жжет, жжет как! Там, внутри, словно огонь... И в голове такая тяжесть, мозг точно горит... – со снова потухшим взглядом через секунду жалобно заговорил он. – Дайте еще воды, сестрица.

Пока он жадно пил, девушка следила за его лихорадочно разгоревшимися глазами, за румянцем, постепенно окрашивавшим его щеки. Температура явно повышалась.

– Все, даст Бог, скоро пройдет. Ведь всякая рана болит, болит мучительно, но это не значит, что она смертельна или даже опасна. Постарайтесь лежать совсем-совсем тихо, не разговаривать и, если возможно, заснуть; сон освежит и укрепит вас, – как могла убедительнее успокаивала больного сестра милосердия.

Тот покорно опустил веки и неподвижно пролежал так некоторое время. Девушка уже собиралась отойти, как вдруг он широко открыл блестящие глаза и вполголоса проговорил:

– Но если я все-таки умру, тогда скажите моей маме, что я не был трусом, что я все время дрался, что ей не надо стыдиться меня. Я не осрамил имени отца, я не виноват, что так случилось и я здесь... и больше ничего не могу... хочу... и... не мо...гу...

Слабость и забытье прервали его последнюю сознательную мысль.

– Мамочка, я же не могу, ты сама видишь, ведь невозможно... с кроватью к Наполеону... Я потом... завтра... Хорошо?..

Бессвязные фразы срывались одна за другой; через некоторое время он затих и уснул.

Еще раз обходит сестра милосердия ряды больных. Примолкло, замерло все вокруг. Тишина словно убаюкивает и девушку. Только теперь она чувствует, как страшно устала; напряженная, нервная работа в течение почти девятнадцати часов дает себя чувствовать.

Она садится на деревянный ящик, опирается локтями в колени и опускает голову на руки.

В утомленном мозгу, точно в калейдоскопе, проходят виденные за день лица и картины. Но один образ настойчивее других завладевает мыслями девушки: перед ней неотступно стоит молодое лицо с детскими печальными глазами, полными ужаса смерти. Почему-то особенно близко, особенно дорого ей это почти незнакомое юное существо.

«Неужели умрет?» – думает она. Жалость и тоска сжимают ее сердце.

И рядом с этой белокурой головой перед глазами девушки встает другая, с густой шапкой черных кудрей, с блестящими, полными молодого задора темными глазами, – образ ее брата. Быть может, и он где-нибудь тут недалеко, и он принимал участие в сегодняшнем жарком сражении? Каким был исход битвы для него? Да, здесь, среди раненых, его нет, но значит ли это, что он цел и невредим? Разве все жертвы попали сюда? А те, что неподвижно и одиноко остались лежать среди опустевшего холодного поля?..

«Если я умру, скажите маме, что я не был трусом, что я не опозорил имени отца», – вспоминает девушка услышанные слова. И мерещится ей эта незнакомая женщина, эта мать, дрожащая за своего мальчика. Сжалится ли над ее детищем ненасытная в своих жертвах смерть? Быть может, и его тоже унесет она?.. Тоже?..

И образ незнакомой женщины сливается с другим, хорошо знакомым, близким, дорогим образом матери ее покойного жениха.

Вот, получив скорбное известие, тесно обнявшись, они плачут в увитой виноградом зеленой беседке, посередине которой ослепительно белой скатертью накрыт стол... Где-то вблизи раздаются шаги... Мигом высыхают слезы девушки... Напряженно и трепетно вглядывается она в хорошо знакомую липовую аллею. Она еще ничего не видит, только слышит... Но слух не может обмануть ее, а главное, никогда не обмануло бы сердце. Разве так радостно рвалось бы оно навстречу этим шагам, если бы не различило хорошо знакомой походки, шагов ее дорогого Юрия?..

Она все еще ничего не видит, только над самым ухом, близко-близко звучит ласковый, любимый голос, от которого так сладко замирает сердце.

– Сестрица, – слышит она за своей спиной. – Сестрица, будьте добры перевязать мне руку, а то уж очень мешала она мне целый день.

Что это? Она, кажется, задремала? Девушка вскакивает и поспешно открывает глаза... Но и с открытыми глазами продолжается все тот же сон... Господи, как крепко она заснула!

Девушка проводит рукой по глазам. Но видение не исчезает: рядом с ней высокая, стройная, хорошо знакомая фигура; на нее удивленно смотрят радостные, ласковые глаза...

– Юрий!.. Ты!.. – восторженным шепотом вылетает из груди девушки.

– Китти... голубка!.. Ты тут?.. – почти одновременно с ее словами срывается радостное восклицание с уст молодого человека.

Первое сознательное движение Китти было осенить себя широким благодарственным крестом за то глубокое, неизмеримое счастье, которое было ей послано...

– Ты не убит!.. Ты жив?!..

– Юрий!.. Ты!.. – восторженным шепотом вылетает из груди девушки.

В радостном порыве девушка протянула ему обе руки. В ответ на это приветствие Юрий одной правой рукой соединил и крепко пожал обе ладони Китти.

– Но ты ранен?.. Что с твоей другой рукой? – уже полная тревоги перед новой грозящей бедой, беспокоится спрашивает девушка.

– Сущие пустяки, приобретенные сегодня и не помешавшие мне весь день пробывать в строю. Неудобно только было очень, лишнее будто что-то болталось. Но я благословляю эту царапину, ведь только благодаря ей я в настоящую минуту тут, возле тебя. Не случись ее, Бог знает сколько бы еще времени могли мы пробывать бок о бок, не подозревая о близости друг друга.

– Дай же прежде всего перевязать твою руку, – полная тревоги, настаивала Китти.

Она, насмотревшаяся за последнее время на страшнейшие увечья, смертельные раны и сложнейшие операции, вся трепетала перед опасностью, мерещившейся ей в небольшом ранении, нанесенном Юрию.

Китти ловко и проворно наложила повязку, затем аккуратно свернула бинты и корпию.

– А вы опять за делом? Право, вам отдохнуть бы хоть немножко, – ласково обратился к ней вошедший в барак старший врач. – Надо же и себя хоть сколько-нибудь пожалеть: ведь вы почти за целые сутки не присели ни разу, – заботливо проговорил он.

– А теперь попрошу часа на полтора отпустить меня, – на сей раз с радостью согласилась Китти. – Тем более, что больные все сравнительно тихи: многие даже дремлют, – пояснила она.

– Ну вот, умница, давно бы так, – похвалил старичок доктор, с отеческой нежностью и болью в сердце следивший за тем, как все время, точно умышленно, морила себя работой эта самоотверженная девушка.

Но не могла же Китти объяснить этому доброму человеку, что еще час назад ей не для кого было беречь себя, а теперь...

Взглянув на просветленное, зарумянившееся лицо девушки, на блеск ее глаз, на счастливую улыбку, впервые открывшую эти губы и, словно по волшебству, согнавшую следы утомления и печали, на озарившиеся изнутри горячим светом ее черты, старик понял, что нечто внезапное, радостное заставило встрепенуться эту придавленную горем молодую душу. Он перевел взгляд на Юрия, на его счастливое лицо, на глаза, с лаской устремленные на девушку, и в душе порадовался за нее.

Одевшись потеплее, Китти вместе с Юрием вышла из барака.

Кругом все запылило чистым снежком. Скорбящее небо поспешило затянуть темную картину людской злобы сверкающей белой пеленой, набросив непорочно-чистый покров на кровавое поле. Оно словно хочет выполнить свой последний долг, воздать заслуженные почести этим уснувшим вечным сном верным сынам своей родины и торопится укутать их незатейливое последнее ложе роскошным парчовым пологом, усеять алмазными брызгами.

– Юрий, Юрий! Неужели это действительно ты, не призрак, а ты, живой, настоящий? Ну, дай же взглянуть на тебя, дай хорошенько насмотреться.

Девушка, закинув ему руки на плечи, внимательно и любовно разглядывала каждую черточку этого живого, хотя и сильно исхудавшего лица.

– Боже, Боже, думала ли я, надеялась ли снова смотреть на тебя, держать твою руку, слышать твой голос! Ведь мы считали, что ты умер, убит там, под Смоленском.

И слезы, которые заледенило в сердце горе, растопила горячая радость, заставив их благодатной струей политься из счастливых глаз девушки.

Опять, как там, в Благодатном, припала к плечу Юрия русая головка, опять блаженно билось сердце, опять загоралось в душе счастье, но неизмеримо ярче и лучезарнее выступало оно после густого мрака и безнадежной темноты, столько времени окутывавших все кругом.

– Но расскажи же, расскажи скорей, каким чудом ты спасся? Ведь и Дохтуров, и папа по наведенным справкам сообщили нам, что тебя нет в живых. Сядем вот тут, и говори, а то на ходу невозможно, движение мешает сосредоточиться, рассеивает.

Они сели на сломленное бурей придорожное дерево.

– Да, – начал Юрий, – спасся я поистине почти чудом. Видно, было кому горячо молиться за меня и отстоять у смерти, – убежденно вымолвил он. – Всех подробностей я, конечно, не помню. Случилось это тогда, когда неприятель уже ворвался в Смоленск, когда на улицах шла жаркая, неумолимая битва. Город весь пылал, температура становилась нестерпимой, на многих от раскаленного зноя даже загоралась одежда. Люди падали, как мухи. При подобных условиях дальнейшее сражение являлось физически невозможным; гибель становилась неминуемой и бесцельной. Тогда последовал приказ очистить город. Это было последнее, что я отчетливо помню. Мы, кажется, были уже вне городской черты, как вдруг совсем близко от меня что-то засвистело и с шипением закружилось по земле. Затем раздался оглушительный треск, удушливый дым окутал все окружающее. Лошадь подо мной бешено подпрыгнула и взвилась на дыбы. Меня с силой вышибло из седла и отбросило в сторону. В голове раздался страшный звон, и я потерял сознание.

Кити слушала затаив дыхание.

– Сколько времени пролежал я в бессознательности – не знаю. Когда я очнулся, была ночь. Пальбы и выстрелов не было слышно; кругом все казалось мирным и спокойным. Я лежал, еще смутно и плохо соображая, когда где-то поблизости раздалась французская речь. Голоса приближались, число их увеличивалось. Не было сомнения: я оказался среди французов. Это обстоятельство заставило меня окончательно прийти в себя. Я стал припоминать, соображать, прислушиваться. Французы, видимо, мной совершенно не интересовались и не подозревали о моем присутствии; видеть меня они раньше, конечно, видели, но, приняв, вероятно, за мертвого, оставили на месте. В памяти моей воскрес слышанный приказ об оставлении

города, – следовательно, Смоленск и его пригороды заняты неприятелем. Если по счастливой случайности впопыхах и впотьмах меня недоглядели и не забрали в плен, то надо было пользоваться своим счастьем и бежать до наступления рассвета. Но это было не так легко: внутри где-то сильно болело, голова совершенно отказывалась служить: при малейшем движении мучительно ныл затылок, глаза застилала красные круги. Встать на ноги я положительно не мог. И решил передвигаться ползком. Сколько часов я полз – не знаю, мне кажется, целую вечность; много времени терял на отдых, так как силы часто изменяли мне. Небо начинало светлеть, вдали вырисовывался темный силуэт леса. Эти два обстоятельства подбодрили меня. Туда, скорей туда, в лесную чащу, пока не рассвело, пока еще тихо у французов, пока никто меня не заметил.

Юрий замолчал, словно заново переживая все случившееся в тот день, но через мгновение продолжил:

– Отчетливо помню совсем близко от себя контуры деревьев; затем ничего больше не помню; я снова потерял сознание, и уже надолго. Здесь меня и подобрал отряд наших партизан, выслеживавший и беспокоивший неприятеля своими бесшабашно удалыми набегами. Меня донесли до первой деревни, а оттуда отправили в ближайшую больницу, где почти два месяца я пролежал между жизнью и смертью. Слава Богу, первая победила! Как только немного окреп, я поторопился на место военных действий. Я добрался сюда как раз накануне назначенного сражения. И видишь, как вовремя! Кажется, трудно было бы даже и нарочно так подогнать. Правда, голубка моя? – счастливо дрогнувшим голосом проговорил Юрий, беря руку девушки в свою здоровую.

Кити только счастливо улыбалась в ответ.

– Ну, а теперь ты рассказывай, подробно. Расскажи, что делалось у вас, что татап, как ты попала сюда – все-все.

– Боже, страшно вспомнить, что за тяжелый, жуткий день это был. Мы с твоей бедной татап с таким радостным нетерпением ждали от тебя весточки, и вдруг это ужасное письмо...

Девушка подробно описала все, что творилось у них, что было пережито в это безотрадное время душевного ненастья.

– Что перенесла твоя бедная татап, что делалось с моей мамой, с Женей! Словами передать невозможно, это надо было видеть, чувствовать. Вероятно, легче всех все-таки было мне. Знаешь, – странно как! Только в первый момент я была ошеломлена, раздавлена: все потемнело, словно задули священный огонек, горевший и светивший мне. А потом даже в самую безотрадную, в ту жестокую минуту, когда, казалось, оборвалась последняя соломинка, угасла последняя надежда, когда получено было письмо папá, подтверждавшее слух о твоей гибели, даже тогда в каком-то уголке сердца что-то мерцало, что-то теплилось, вопреки рассудку, вопреки очевидности. Надежда перегорела, но иногда вспыхивали какие-то искорки. Не было полного мрака, не было и безысходного отчаяния, верилось во что-то неясное, неопределенное, я бы даже не сумела объяснить во что, а вот

верилось. А потом, когда меня ослепила счастливая мысль отправиться сюда, еще больше прояснилось на сердце. А мамá? Неизмеримо сложнее, безнадежнее было ее горе: то, что влило свет в мою душу, черной, беспросветной ночью заволокло ее сердце: она теряла еще и меня, и Сережу, оставалась там, вдали, дрожащая каждую минуту, покорно готовящаяся к новому удару... Бедные, бедные наши мамы! Боже, почему сейчас, в эту минуту они не могут взглянуть сюда, увидеть нас вместе, живых, целых, невредимых и таких – правда, Юрий? – таких счастливых!..

ГЛАВА 10

Между тем в Благодатном жизнь текла особенно тоскливо и уныло. Отсутствие известий и тревога истомили Анну Николаевну, а услужливое воображение создавало картины, от которых холодело ее сердце. Обычно присущие ей твердость и бодрость окончательно покидали бедную женщину. Однажды, поднявшись с особенно тяжелым сердцем, измученная бессонной ночью и тревожными думами, она появилась к чайному столу. Анна Николаевна уже два раза позвонила, а аккуратный Данилыч, всегда гораздо раньше барыни занимавший положенное ему место, все еще отсутствовал.

Вдруг он появился на пороге торопливым, быстрым шагом, так несвойственным его выдержанной, строгой походке. На лице старика не было обычной важности и чинности – покрасневшие веки радостно мигали, губы помимо воли расплывались в широкую счастливую улыбку.

– Честь имею доложить, что Мишка, что при молодом барине состоит, прискакал и привез вам привет от их превосходительства, и от барышни, и от Юрия Николаевича, и от Сереженьки.

Взволнованно и торопливо проговорив все это, Данилыч опять широко улыбнулся.

Но на лице Трояновой не изобразилась радость. Оно не просияло, лишь мертвенная бледность разлилась по его чертам. Услышав имя погибшего Юрия в перечне детей и мужа, Анна Николаевна страшно испугалась. Слова «привез привет» ускользнули от ее слуха. Вся застыв, она с ужасом ждала, что после названных имен Данилыч добавит роковое: «приказали долго жить».

Но дворецкий ничего больше не прибавил к сказанному. Его лицо все так же светло и ясно улыбалось.

– Что ты говоришь? – постепенно успокаиваясь, переспросила Анна Николаевна, глядя на счастливую физиономию старика. – Юрий Николаевич кланяется? Но ведь он же погиб, убит...

– Никак нет-с! Так что никакой француз их не убивал, они живы, здоровы, невредимы, чего и вам желают... Да вы, матушка-барыня, разрешите Мишке приказать явиться к вам, у него и письма имеются. Только он не отдает мне, сам, вишь ты, шельмец, желает в ваши ручки счастливые вести предоставить, – отбросив на сей раз всякий этикет, фамильярно посмеиваясь, говорил преданный слуга.

– Зови, зови! Скорей, зови! – дрожащим от радости голосом торопит Троянова, только сию минуту поняв, какое громадное счастье неожиданно посылает ей Бог.

– Скоренько, скоренько, Данилыч! Бегом, голубчик, тащи Мишку! Ой скорее! Как черепаха ползет! – обнимая старика за плечи и подпихивая его в спину, торопила подскочившая тут же Женя. – Мамусенька, миленькая, Юрий жив! Юрий жив!..

Девочка то обнимала и душила в объятиях мать, то, как маленькая, прыгала по комнате, хлопая в ладоши, на все голоса повторяя:

– Юрий жив! Юрий жив, жив, жив, жив!..

Широко ослабившись, предстал перед господами сияющий Мишка. Он, видимо, был бесконечно счастлив и горд тем, что на его долю выпало доложить такую великую радость.

– Здравствуй, Мишенька, здравствуй, милый! – приветствовала Женя вошедшего, готовая чуть не на шею ему броситься от охватившего ее восторга.

– Ну, рассказывай, все-все рассказывай! Что Сережа? Как папá? Китти? Откуда Юрий Николаевич взялся?..

Мишка добросовестно доложил, что мог.

– И генерал, и барышня, и молодой барин, все в добром здоровье. Приказали низко кланяться, просили об их не тревожиться, что все, Бог даст, обойдется. Муратовский-то барин французов поднадул да драпака у их из-под носу задал, опосля того, почитай, полтора месяца проболел, но теперь, слава Создателю, оправился и уже под Тарутином снова француза колотил... Вот извольте сами почитать, тут как есть, сказывали, все отписано.

Мишка протянул три толстых конверта.

Писали все. Два пакета предназначались Трояновой, третий, надписанный рукой Юрия, был адресован на имя его матери.

– Наказывали беспрерывно сию же минуту в Муратовку пакет сей доставить. Так как приказать изволите? Мне самолично отвезть, али кого другого послать изволите?..

– Нет, Миша, ты отдохни с дороги, не нужно. Мы с барышней сами передадим письмо, вот только чаю выпьем и поедем. Прикажи-ка пока экипаж закладывать, – решила Анна Николаевна.

Столько приходилось за последнее время горевать двум исстрадавшимся матерям! Потому так ярко осветила все кругом внезапно вспыхнувшая радость, так сильно задрожали от нее сердца.

Анна Николаевна даже испугалась того, как глубоко потрясло неожиданное счастливое известие надломленную горем женщину. Ей казалось, что Марья Львовна не переживет его.

Но от счастья никто не умирает. Первое впечатление радостного волнения вызвало сильный сердечный припадок, но он прошел. Теперь больное сердце могло отдохнуть, биться спокойно и ровно.

Совместно были прочтены все письма, обсуждалась каждая мелочь. Некоторые места перечитывались по несколько раз.

Но от счастья никто не умирает. Первое впечатление радостного волнения вызвало сильный сердечный припадок, но он прошел. Теперь больное сердце могло отдохнуть, биться спокойно и ровно.

Совместно были прочтены все письма, обсуждалась каждая мелочь. Некоторые места перечитывались по нескольку раз.

– Недаром так горячо верила и надеялась Китти! Помните, с каким спокойным, ясным взглядом провожала она Юрия, как не теряла мужества в его отсутствие? Сколько раз ободряло меня ее светлое лицо, ее глубокой верой проникнутый голос... Она все повторяла: «Господь сохранит его нам, мама, сохранит нашего Юрия. Я так горячо молилась, так просила. Зачем Богу причинять нам такое громадное горе? Он так милосерден...»

– Да, бездонна была вера этой девушки, и она не обманула ее, – промолвила Муратова.

Не об одной только личной радости говорилось в полученных в этот день белых бумажных листках: они принесли великую счастливую весть о том, что неприятель отступил из Москвы, что Первопрестольная снова свободна, что в нее постепенно возвращаются жители, что счастливым благодарственным благовестом загудели златоглавые ее купола.

Дрогнула и быстро начала таять великая союзная армия, ослабленная крупными боевыми потерями, постоянными смелыми набегами наших казаков, отрядами всюду сновавших бесшабашных партизан. Воодушевленные ненавистью к насильнику-врагу, мстостью за изувеченных и убитых друзей и родных, эти боевые горсточки, вооруженные вилами, топорами, кольями, – словом, всем, что попадалось под руку, творили чудеса храбрости, наводя панику на встречных французов.

Все реже попадались по дорогам и деревням бесчинствующие неприятельские шайки, зато все чаще прятались в густых лесах отставшие больные и раненые французы, оборванные, истощенные плохим питанием, страдающие от преждевременно наставших суровых морозов, немилосердно затравленные все теми же партизанами.

Постепенно обезвреживая, русское народное море растворяло и всасывало вторгшийся в него ядовитый вражеский поток.

Так ярко и неожиданно вспыхнувшая над Благодатным радость мало-помалу бледнела. К ней привыкли, с ней сжились: Юрий, как бы воскресший, снова обретенный, стал таким же, как прежде, пожалуй, даже более любимым, действительным членом семьи. Его уже не оплакивали, но за него опять дрожали, о нем думали и беспокоились наряду с Сережей, Кити и самим Трояновым.

Через три дня отдохнувший, со всеми повидавшийся, поделившийся привезенными и снабженный здешними новостями, Мишка вернулся обратно на поля войны, и с тех пор писем опять не было. Приходили лишь изустные вести, правда, утешительные: были еще сражения, победоносные для нашей армии.

Звезда французов окончательно померкла: оборванные, обнищавшие, они поспешно и беспорядочно отступали, жалкие, больные, так мало похожие на блестящую, самонадеянную армию во главе с «непобедимым Наполеоном». Как русская женщина, Троянова была счастлива этими известиями, но, как мать, по-прежнему боялась за своих детей, за мужа.

«Разве легко даются блестящие победы? Разве не приносят крупных жертв и победители? Кто знает, чей черед пришел лечь этой неизбежной жертвой на кровавом поле?» – думала она.

Женя тоже снова поникла. При известии, что Юрий жив, ее радость была так велика, что в ту минуту она забыла прежнюю злобу к французам. Ей казалось, что, сохранив жизнь жениха сестры, они этим искупили свою вину, и ненавидеть их больше не за что. Ей самой не так уже тяжело, не так больно было сознавать себя француженкой.

Но не у всех воскресли женихи, сыновья и братья: сын Варвары не ожил, Катерина по-прежнему оставалась вдовой, а ребятишки ее сиротами. Да разве мало еще других?.. У них всех сердце не отошло, ненависть не угасла; «проклятый» француз оставался «прислужником дьявола» и «басурманином».

Просыпались и личное чувство, личная тревога: «Да, Юрий жив, слава Богу, но война не кончена. А что Сережа? Что с ним делают, может быть, сейчас французы? А папá? А Китти?»

Опять тоской и страхом сжалось сердце девочки, опять потухли искрящиеся глазки.

ГЛАВА 11

На дворе почти ночь. Чуть брезжит рассвет позднего зимнего утра. Женя спит, разметавшись на своей постели, но неспокоен, видимо, ее сон. По лицу пробегает выражение страха; руки подергиваются, словно девочка собирается рвануться куда-то, грудь высоко и порывисто вздымается.

Ей снится лето. Лихо звеня бубенчиками, все подкатывают к парадному крыльцу тройки; из них вылезают нарядные мужчины и дамы. Сколько гостей! Но где же мамá? Где Китти? Надо скорей предупредить их.

Девочка торопливо обегает все комнаты; вот, наконец, они в столовой около громадного накрытого для гостей стола. Посуды нет, только длинная белая скатерть, и на нее Китти бросает цветы. Они тут же вместе с мамá делают их из корпии. Вот гвоздика, вот маки, но все белые.

– Почему белые? Некрасиво и совсем незаметно на белой скатерти, – говорит Женя.

– Подожди, – отвечает Китти, – как только ранят кого-нибудь, цветы сейчас же напьются крови и станут ярко-красные; вот увидишь, как будет красиво.

Жене вдруг становится страшно. «Сережа! – мелькает в ее мозгу. – Где Сережа?»

Тоска и страх охватывают ее.

– Сережа, Сережа! – зовет она.

Никто не откликается.

– Сережа, где ты? – уже выбежав в сад, кричит Женя.

Ответа нет.

Девочка торопится бежать все дальше и дальше. Страх ее растет.

Сад становится гуще, все плотнее жмутся друг к другу деревья. Вот темная широкая и бесконечно длинная аллея; по обеим ее сторонам раскинулись залитые солнцем и покрытые мохом полянки. Ах, как красиво!

Огромные пунцовые мухоморы, словно рассыпанные по ней, горят своими ярко-красными шапочками. «Но где же Сережа?» – отвлеченная на минуту дивным зрелищем, спохватывается Женя.

– Сережа-а! – раскатом несется по лесу ее зов.

– Ау-у-у! – слышится в ответ знакомый голос.

«Слава Богу, он!» – успокаивается девочка.

Вот юноша показывается в зеленой аллее, отороченной пунцовой каймой несметных мухоморных головок, там, вдали, сливающихся и образующих как бы одно сплошное красное море.

Сережа приближается, что-то весело напевая.

– Ай да гриб! – раздается его веселый голос. – Всем мухоморам царь! Вот мы его сейчас и выковырнем. Нечего, нечего, братец, упираться, вылезай, довольно поцарствовал. Ишь, упрямый!

Сердито дернув рукой, Сережа с усилием вытаскивает невиданных размеров мухомор.

В ту же секунду стон, вопли, злобные крики оглашают темный лес. Как бы всколыхнулось все красное море грибов.

Всё растут, ширятся, высятся они, бешеными, разъяренными толпами бегут, обступают Сережу и всё растут, растут. Вот они ему до пояса, до плеча, вот они уже в уровень с ним...

Вдруг Женя видит, что это вовсе не мухоморы, а французы в красных шапках. Вот они вытягивают из ножен громадные блестящие сабли. Сейчас, сию минуту они вонзят их в Сережу...

Женя хочет закричать и не может. Ей кажется, что она задохнется, что сердце ее разорвется от ужаса. Но не успели французы прикоснуться оружием к груди Сережи, как вдруг потемнело небо, и оттуда стало спускаться серое облако.

Быстро несется оно, и Женя уже видит, что это не облако, а стройная фигура, окутанная в блестящий серый хитон, весь сотканый из стальной чешуи. Крупными стальными звездами сверкают большие крылья; громадная такая же звезда горит и над высоким челом; в правой руке широкое блестящее лезвие меча. Видение высоко взмахивает им и как бы застывает, властно, повелительно глядя на окруживших Сергея.

Вздروгнули красные шапки, затрепетали, съезжились. Все меньше и меньше становятся они, и вдруг уже не мухоморами, а мелким красным горошком рассыпались по зеленому лесному ковру.

Между тем серый ангел, подхватив Сергея, стал быстро подниматься ввысь.

– Сережа! – крикнула Женя. – Сережа!

Но видение несло все выше и нераздельно слилось с окружавшими его серыми облаками. Женя стояла одна среди леса.

– Сережа! – еще раз позвала она и проснулась, вся в слезах, с трепетно бьющимся сердцем.

«Что-то случилось с Сережей, непременно случилось», – пронеслось в голове девочки. И в ее еще не совсем освеженном после сна мозгу всплыли все страшные подробности. «Мухоморы, все мухоморы, красные, как кровь... Это кровь и есть, конечно! А этот страшный белый стол с цветами, кровавыми цветами?.. Боже, какой ужас!..»

Женя вздрагивает и закрывает лицо руками. «Случилось, конечно, случилось», – мысленно повторяет она. Вдруг девочка припоминает, что не помолилась сегодня за Сережу.

Верная своему обещанию, Женя каждую ночь, когда все в доме уже спали, заставляла себя просыпаться. Босиком, в одной рубашонке, отбросив разостланный перед киотом коврик, на холодном твердом полу она совершала свою молитву. Ей казалось, что именно такая молитва особенно угодна будет Богу. А сегодня она вдруг так крепко заснула, что проспала. И вот, вот наказание...

Что делать?.. Помолиться сейчас?

Но в такое мгновение это кажется девочке слишком заурядным.

«Поздно! Опоздала! Что-то совершилось. Надо как-нибудь особенно умолить Бога. Сейчас же пойти в церковь? Только чуть-чуть одеться, чтобы непременно холодно было, и голыми коленями на паперть!» – эта мысль несколько успокаивает ее.

– Малаша, Малаша, – через минуту шепотом будит Женя спящую в соседней, умывальной, комнате девушку.

Чуткая Малашка быстро вскакивает.

– Тише, только ради Бога тише! – останавливает ее Женя. – Одевайся скоренько, и идем в церковь.

– В церкву? – недоумевает Малаша, но тем не менее проворно одевается. – Нешто случилось что недоброе? – тревожно осведомляется она, глядя на расстроенное лицо барышни.

– Там, по дороге расскажу, а то, боюсь, услышит кто-нибудь, – шепчет Женя. Со всеми предосторожностями девушки выбираются из дома. Чуть обрисовываются серые тени заиндеветевших деревьев; светлеет узкая полоса дороги. На дворе ни души, хотя в избах уже мерцают тусклые огоньки. Очевидно, крестьянский люд уже поднялся, но в большом доме и в людских еще спят.

– Понимаешь, Малашка, я такой ужас сейчас во сне видела!

Женя, внутренне содрогаясь при одном воспоминании о своем сне, передает его девушке. Малаша внимательно слушает.

– А по мне, барышня, ничего тут особливо плохого для Сергея Владимировича не выходит. Оно, точно, стол длинный да еще скатертью накрытый очень плохо во сне видеть, грибы мухоморные али другое что красное – тоже не к добру, слов нет. Ан теперь, коли умом-то пораскинуть: стол для кого собирали? – Для гостей, не для своего семейства, для чужих,

значится. На барина, оно точно, напали, ан с него крови не пустили?.. Не брызнула она? Вот и опять выходит, не евоной кровью цветы-то на столе закраснели, опять же чужой, пришлой, гостиной кровью. По мне, то так: будет в доме покойник, неминуще будет, вот провались я на месте, токмо посторонний, не с нашего дома. А барчука ангел-хранитель унес.

– Как унес? На небо? Значит, он... умер?

– Никогда так не бывало, ничуть не умер. Ведь не в небо он его понес, а в тучу? Спрятал, значит, укрыл от опасности, и за то Бога благодарить надо, а не печалиться, – тоном, не допускающим возражений, опровергла Малашка представляемые ей доводы.

– Так ты думаешь, все хорошо? Ничего страшного не случится?.. – ободренная, убежденная авторитетным тоном девушки, спросила повеселевшая Женя.

– Да не только я думаю, а дите малое смекнет, для вашего дома ни-ни, ничегошенько дурного. А покойник все ж будет, чужой, сторонний, а будет, – настаивала вещунья на своем пророчестве.

Во все редееющем сумраке невдалеке от них среди деревьев проступили очертания церкви. Разговаривая, девушки не заметили, как прошли расстояние, отделявшее их от дома.

– Заперто! – надавив ручку двери, разочарованно проговорила Женя. – Разве церковь когда-нибудь запирают? Зачем?

– А то как же! А вдруг лиходей какой заберется да осквернит храм Божий али, греха не страшся, еще и возьмет что? Разные люди-то тоже нынче развелись. А и невдомек-то мне за ключом сбегать. Сна-то вашего уж больно заслушалась. Да я мигом до Ивана-сторожа добегу; вы маленечко тут погодите.

– Нет, нет, Малаша, не ходи, не надо! Будут знать, я не хочу. Я здесь на паперти помолюсь.

Женина тревога совсем улеглась, горячая потребность молитвы остыла, но ей не хочется быть неблагодарной перед Богом. Девочка приподнимает подол платья, спускает чулки и голыми коленями становится на холодные ступени паперти.

Мороз изрядно пощипывает, ветерок продувает через наскоро накинутое платье, но девочка добросовестно кладет и кладет земные поклоны.

– Ну, теперь бегом домой, – наконец говорит она. – У-у-ух, как холодно!

Руки ее покраснели; она торопливо натягивает чулки на посиневшие колени.

– Скоренько бежим!

За поворотом церковной ограды девушки чуть не наткнулись на какую-то темную, бесформенную массу, копошившуюся почти у их ног, на самом краю дороги. Испуганные, они в первую минуту отскочили, затем с любопытством стали вглядываться в движущееся, несомненно живое существо...

Было уже настолько светло, что они различили две обмотанные тряпьем человеческие фигуры. Одна, более удаленная от дороги, была безжизненно распростерта на земле; ближайшая, видимо, с трудом доползшая до этого

места, делала невероятные усилия, чтобы приподняться, но сейчас же падала снова.

– Боже, какие несчастные! – разглядев происходящее, промолвила Женя. – Это, верно, нищие! В каком они тряпье! Они или замерзают, или умирают с голоду. Посмотри, Малаша, тот, другой, не двигается даже... Надо что-нибудь сделать... Так нельзя... Надо помочь... поднять... – суетилась сердобольная девочка.

– Во имя Божие, спасите! Он умирает от голода... Мы четвертый день ничего не ели, – совсем слабым голосом на чистом французском языке заговорил ближайший к ним человек. – Что-нибудь ему, умоляю вас, он так слаб, так болен, – указывая головой на товарища, продолжал француз.

– Фра-анцузы! – отскочив, как ошпаренная, воскликнула Малашка.

– Стыдись! – прикрикнула на нее Женя. – Человек умирает, а она... Да, да, сейчас, сию минуту, мы достанем вам чего-нибудь... мы принесем... – волнуясь, по-французски успокаивала Женя несчастного. – Вы подождите, мы сейчас сходим домой и принесем вам всего-всего.

– Бежим, Малаша, скорей! Господи, какой ужас: зимой умирать с голоду на улице! Да что ж ты копаешься, скорей!..

Женя вся горела. Даже отдаленно не мелькнула у нее мысль, что это ненавистные «басурмане», что они враги, что они убивали наших. Жалость сжимала сердце девочки при виде ужаса их положения, для нее это были несчастные страждущие, и только.

Первый испуг перед страшным словом «французы» мигом слетел с Малаши; в ней тоже проснулось ее доброе сердце.

В доме по-прежнему спали, а будить и поднимать тревогу девушка не хотела. Расторопная Малаша мгновенно разжилась где-то громадным ломтем белого хлеба, крынкой молока и хорошим куском ветчины. Тем временем Женя в тщетных поисках чего-нибудь теплого, чтобы укутать несчастных, остановила свой выбор на двух ватных одеялах.

Нагруженные всем раздобытым, девушки быстро, насколько позволяла крынка с молоком, направились к церкви.

Разговаривавший с Женей француз, еще молодой, после еды несколько окреп и ободрился. Он с жадностью набросился и на хлеб, и на ветчину, и на молоко. Но старший, проглотив с усилием немного молока, знаком отказался от всего прочего. Сильная слабость мешала ему говорить. Женя чуть не плакала, глядя на него.

– Боже мой, ведь его нельзя здесь оставить, он замерзнет, умрет. Надо в дом перенести и его, и вас, сейчас же, – говорила она и по-русски, и по-французски, обращаясь то к Малаше, то к французу.

Тот благодарно взглянул на Женю.

– Да вознаградит вас Господь за вашу доброту, – прочувствованно вымолвил он. – Если вы действительно так добры, что хотите спасти нас, пусть бы его, беднягу, перенесли, а я как-нибудь сам доберусь, но его, пожалуйста, его!..

Трогательная забота звучала в его голосе.

– Да, конечно, мы сейчас все устроим...

– Но как его перенести? – указывая на лежавшего, обратилась девушка к Малашке. – Вдвоем ведь мы с тобой не дотащим?

– Да где уж вам, барышня, с вашей-то силенкой поднять его! Обождите малость, я помощника вмиг раздобуду.

Девушка стрелой полетела к дому.

– Миколаша, а Миколаша! – через несколько минут вызывала она из слегка зашевелившегося дома буфетчика Николая.

– Ну-ка живо сюда, дело важнейшее-разважнейшее есть. Ну выходи, что ли! – торопила девушка.

– А какое дело-то? – осведомился тот.

Но хитрая Малаша знала, что, скажи она правду, Микола ни в коем случае ей не поможет.

– Вишь любопытный! – заговаривала она ему зубы. – А ты на слово поверь, много знать будешь, скоро состаришься. А старого и любить никто не станет, – лукаво прищурилась она.

– Так-то оно так, а все ж знать требуется.

– Да ни-ни не требуется. Ну, идешь, что ли? А то мне вожаться-то с тобой некогда. Не хошь, так Петрушку позову, тот кочевряжиться не станет.

– Да иду уже, иду, – сразу подействовала на Николая угроза.

– Ну, а коли идешь, так пошустрей, а то этак, прохлаждаючись, и клад прозевать можно.

– Какой клад? – любопытствует буфетчик.

Малаше смешно, но она продолжает интриговать.

– Да тот самый, что мы с барышней под церковью нашли! А барышня сама там осталась. Накажи Бог, если вру. Ба-а-альшой клад-то, вдвоем-то нам с барышней не управиться. Вот тебя на подмогу и позвали, – балагурит девушка.

Женя умоляет несчастного опираться на ее плечо, в то же время одной рукой придерживает края окутывающего его одеяла.

– А, Николаша!.. Это ты? Вот молодец, что пришел, – приветствует их появление Женя. – Скоренько помоги нам этого несчастного больного поднять и в дом отнести. Только скорей, ради Бога... А то он умрет... Я так боюсь!..

Малаша с Николаем поднимают одного француза, Женя бережно окутывает его одеялом. Другой, хотя очень слаб, все же может кое-как передвигаться. Женя умоляет его крепче опираться на ее плечо, в то же время одной рукой придерживает края окутывающего его одеяла, которое постоянно соскальзывает с плеч несчастного.

Странная процессия постепенно приближается к дому.

– А куда класть-то будем? – осведомляется Малаша.

– Куда?.. – на минуту призадумывается Женя. – Да в красную комнату, конечно! В ту, где Петр Дмитриевич всегда останавливается. Она крайняя, к тому же в ней как раз две кровати, – радуется своей блестящей мысли Женя. Больного француза сейчас же уложили на кровать, прикрыв еще одним одеялом. Он по-прежнему не выказывал почти никаких признаков жизни.

Между тем второй, помоложе, переутомленный непосильным переходом, едва дойдя до предназначенной ему постели, упал на нее, лишившись чувств.

– Господи, теперь и этот умирает!.. Может быть, умер уже, а я не знаю, что делать, что дать... Боже мой, Боже! Чем же им помочь? – чуть не плакала Женя. – Я пойду маму разбужу, я сама ничего не знаю... А они умрут...

С этими словами она побежала в комнату матери.

– Мамочка, дорогая, проснись скорее, скоренько проснись!.. Там больные французы... такие несчастные... Они умирают, встань, дай им что-нибудь... а то они умрут... Один не дышит уже... Ради Бога! Ради Бога! Я так боюсь, мне так жаль!.. – вся дрожа и волнуясь, просила Женя.

– Какие французы? Откуда они взялись? – ничего еще толком не поняв, но тем не менее торопливо одеваясь, спрашивала Троянова.

– Мы с Малашей на улице нашли... Они четыре дня не ели... замерзли... Мамуся, милая, скорей же, скорей!.. Мне так страшно... так жалко!..

Рюмка крепкого вина заставила очнуться молодого француза и несколько подбодрила старшего. Он на минуту открыл глаза и осмотрелся вокруг. Больной, видимо, хотел что-то сказать, но слабость была настолько сильна, что утомленные веки снова опустились и он лишь глубоко вздохнул.

Троянова распорядилась, чтобы с несчастных сняли окутывавшие их насквозь промокшие и обмерзшие лохмотья. Французов раздели, закрыли теплыми одеялами и шальями, напоили горячим чаем, дали имевшееся всегда в домашней аптечке лекарство, соответствующее надобности, и предоставили полнейший отдых.

– Господи, какие же они, действительно, жалкие, несчастные, страдавшие! – соболезнующе глядя на бледные, изможденные лица, проговорила Троянова.

– Мамочка, милая, скажи, ты не сердись, что я их привела... французов? – робея и запинаясь, заглядывала Женя в глаза матери. – Но ты сама видишь, какие они несчастные, а там, на улице, они были еще страшней, еще жальче. Ты не сердись, не думаешь обо мне дурно за это?..

– Бог с тобой, моя девочка, что за мысли! Не все ли равно, французы они или нет. Они несчастные, страдающие, а разве мстят бессильному, безоружному?.. Оставить их на холоде было бы жесточайшей мстью, это

значило подвергнуть их мучительной медленной смерти. Напротив, детка, ты хорошо поступила, послушавшись своего доброго сердца. Верь ему всегда, оно не обманывает!

С быстротой молнии по Благодатному разнеслась весть о том, что «барышня с Малашкой французов в дом принесли». В людской укоризненно качали головами и неодобрительно ворчали. В девичьей ахали и визжали от страха. Вымуштрованные Данилыч и Василиса молчали, не выражая порицания ни словом, ни движением, но по их лицам видно было, что они недовольны и расстроены.

– Спят, сказывали, басурманы-то. Пойти, штоль, хоть одним глазком глянуть, какие из они себя-то? Поди, стра-ашные! – шептались девушки.

И, мучимые любопытством вперемежку с чувством страха, по две, по три подкрадывались они потихоньку к дверям красной комнаты и заглядывали в щель двери, в замочную скважину, а затем, гонимые ужасом, созданным их досужим воображением, вихрем неслись обратно.

– Ну и натерпелись же мы с Дунькой страху, родименькие мои! Смо-отрим, зашевелился француз-то, тот что по правой руке, да вдруг как вски-и-нет буркалами-то своими! Как посмо-о-отрит! Да как задви-и-гает ручищами-то под одеялом! Так будто кругом все и задрожало, и затряслось!.. Тут, девушки мои милые, так мы с Дунькой спужались, что, за голову взявшись, бежа-а-ть!.. А за нами-то по коридору топ-топ-топ, топ-топ-топ, слышать, гонится кто-то. Чуть-чуть живые добегли! Сердце-то так и рвется с груди, вот-вот лопнет. О-о-о-ох!.. То-то натерпелись! – взвинчивая других, повествует одна свои ужасы.

– Эж, ерунда, было чего пужаться-то! Великое, подумаешь, дело, буркалы раскрыл?! – презрительно передразнивает другая девушка. – Вот мы с Манькой что видали, так поистине видали! Великий страх, толков нет, что большущий страх. Вот и Манька сама скажет. Подошли это мы да в скважинку и глянули. Будто и ничего, лежат как лежат, все одно как и наш брат, русский. Мы похрабрили, да ручку дверную крошечку натиснули. Как ще-е-лкнет замок-то, да как вско-о-чит левый-то француз!.. Да как ся-я-дет!.. И сидит, миленькие, как гвоздь посередь кровати, сидит и глазищами так и бегаёт, так и бегаёт, а потом, как ска-ак-нет!.. да прямо к двери, а в руке-то вот эндакий кинжал, – чуть не на полтора аршина разводя руками, показывает девушка пригрезившееся ей оружие француза. – Во-о-острый! Блести-и-т! Мы с Манькой бежать. Едва убегли! А то полоснул бы, с места не сойти, полоснул бы, окаянный! – искренне веря своему измышлению,

фантазирует рассказчица перед замершей от страха и жуткого восхищения публикой.

– И не грех тебе, Малаша, как нониче подвела ты меня?.. Этакую, прости Господи, нечисть таскать заставила. «Мы с барышней клад нашли, подсоби донести, одни не управимся», – передразнивает сердито Николай. – Кла-ад, что и говорить, поистине клад!

Там бы ему пропадом под забором и пропасть, самое бы подходящее дело было, – ворчливо продолжает он.

– Полно, Миколаша, что ты несуразное толкуешь, как это человеку, словно собаке, на улице помирать! Поди, душа у каждого есть.

– Да нешто у француза-то есть она, душа-то энта самая?.. – презрительно вымолвил буфетчик. – Нету души, один пар заместо ее, все одно, как у кошки. Потерпи уже маленько, наделают они делов-то тут, кровопивцы окаянные! – пророчествует Николай.

– Ну, полно, какие они там кровопивцы! Тихохонькие да смирнехонькие, – протестует Малаша.

– Поневоле смирным да тихим будешь, коли ни рукой, ни ногой не дрыгнешь! Дай срок, малость отъедятся, всех тут нас перережут, окаянные, – не унимается буфетчик.

Проходившая мимо Женя случайно услышала этот разговор, и тяжело сделалось у нее на сердце. Не потому, что она верила в мрачные предсказания Николая, а потому, что видела, как он сердит за пребывание в доме французов. Недовольны, конечно, и все остальные; они так же, а то и еще хуже думают, говорят и осуждают ее, Женю. Опять знакомое, тоскливое чувство заползает в душу девочки.

А она-то мечтала совершить подвиг, доказать, что она русская, совсем настоящая русская. Думала сделать для России что-нибудь большое, хорошее – и вдруг... Сама же, сама привела в дом двух французов! Не своих, не русских! Напоила, приютила, хотела от смерти спасти – французов, врагов?!

– Господи, ну почему я такая несчастная! Почему я не могу сделать того, что хочу?..

ГЛАВА 12

Прошло несколько дней с тех пор, как в Благодатном поселились два больных француза. Силы младшего заметно возрастали и крепили. Легкий румянец начинал пробиваться на его еще совсем юном, добром и открытом лице. Большие серые глаза весело и приветливо смотрели на мир Божий.

Каким-то особым теплом и лаской загорались они каждый раз, когда в комнате появлялась Женя. Эта стройная хорошенькая девушка с

золотистыми глазками, с будто усыпанными блестящими искорками каштановыми кудрями, вся словно светящаяся, представлялась спасенному ею юноше каким-то сказочным видением, золотой феей. Как ясная звездочка выплыла она из безнадежного смертельного мрака, там, у церковной ограды, среди мглы холодного зимнего утра. С тех пор восторженный взгляд юноши с каким-то благоговением следил за каждым движением девочки, слух его улавливал приближение ее легких торопливых шагов.

Здоровье старшего товарища поправлялось гораздо медленнее, вернее, оно не поправлялось вовсе. Хорошее питание, вино, укрепляющие средства, тепло, безусловный покой и внешняя безопасность побороли острую форму болезни, вызванную голодом, холодом, ужасами преследования, переутомлением от скитания по полям и лесам в зимнюю пору. Сознание вернулось, мысль работала отчетливо и ясно; но организм этого еще не старого человека, видимо, был подорван в корне.

Ему должно было быть не более пятидесяти лет. Красивые мелкие, но мужественные черты лица сохранили свою правильность, однако резкие морщины шли по высокому, полному благородства лбу, ложились около рта, густой сетью окаймляли большие темные глаза, в которых не было блеска: в них застыло скорбное выражение не то неудовлетворенности, не то сожаления и раскаяния в чем-то. Исчерпанным, пустым казался ему внешний мир; вся его угасающая жизнь была сосредоточена на собственном внутреннем мирке; только им он и жил. Между тем и он, как и его молодой товарищ, чувствовал в Жене какую-то неотразимую, притягательную силу.

Когда, окрепнув настолько, чтобы сознательно воспринимать происходящее кругом, он в первый раз услышал голосок девочки, с какой поспешностью он перевел взгляд в ее сторону, какой светлый луч блеснул в его тусклых глазах. С тех пор и он неустанно следил взглядом за этим милостивым личиком; что-то тихое и ясное загоралось в нем.

Какую забытую грезу, какую выплывшую в памяти светлую тень вызывала в больном эта девочка?

Не одно, целые рои воспоминаний и разнообразнейших впечатлений его пестрой жизни воскрешала она: среди них, словно маяк на море, словно звезды в темном небе, лучезарно сверкали два светлых образа, манивших и звавших к тихой, счастливой пристани. Но в ту пору, увлеченный, он рвался в другую сторону, а когда захотел вернуться, исчезла сама пристань, поглощенная жизненными волнами.

В его ушах раздается чистый смех, серебристый голос любимой женщины, его молодой жены, так странно похожий на голос этой милой девочки. Ему видятся пышные каштановые волосы, со словно продернутыми в них золотыми нитками, такие сходные с причудливой окраской мелькающей

сейчас перед ним головки. Только глаза у той женщины были большие, глубокие, печальные, словно полные предчувствия неизбежного, близкого горя. Зато у сидевшей на руках матери малютки веселые смеющиеся глазки переливались золотыми искорками.

И он оставил эти два незаменимых сокровища, ушел от них, ослепленный, замороженный неотразимой силой гения Наполеона. Он благоговел, он преклонялся перед этим человеком. В течение нескольких лет он совершал с ним походы, отдавая свои лучшие годы, заглушая голос сердца, зовущий к двум дорогим существам.

Когда же, наконец, окутывавшая его пелена спала, он увидел, что только жажда личной славы и могущества движет поступками Наполеона, что для их достижения этот человек прольет целые моря крови, погубит миллионы жизней. Тогда, разочарованный и не удовлетворенный, вернулся он во Францию, но не нашел там ни жены, ни дочери. Ему сказали, что они уехали в Россию, в необъятную, холодную, далекую Россию.

Одинокие, тяжелые годы!..

Но вот возгорелась война с Россией, и он снова встал в ряды воюющих. Не преданность Наполеону, не стремление к славе и победам заставили его взяться за оружие: его неотвратимо влекло в Россию, какой-то светлый призрак, неясная надежда манила его туда. И с тех пор как он переступил пределы этой страны, смутное чувство ожидания ни на минуту не покидало его.

Но вот жизнь дожита; наступает смерть, холодная, близкая, неизбежная. Как прощальный светлый отблеск всего безвозвратно ушедшего, эта чудная девочка ярким огоньком озаряет одинокий печальный закат его бесцельно разбитой жизни.

Женя чувствует, инстинктивно сознает, что она нужна там, в красной комнате. Она видит, какой радостью озаряется при ее появлении молодое лицо месье Мишеля, какой тихий свет разливается по печальному лицу полковника. Это льстит ей, радуется ей, и сама она стремится к нему, таким славным, таким добрым.

Как горячо благодарит за малейшую услугу месье Мишель! Какой теплой лаской освещается прекрасное, благородное лицо полковника! Он, видно, такой хороший и... несчастный. Сколько грусти в его глазах! Сколько печали в кроткой улыбке! Немудрено, что месье Мишель так привязан к нему, так заботится о нем, – разве можно не любить такого человека?

Женя кается, казнится за свои чувства и... стремится в красную комнату, где, она знает, так ждут ее.

Не одна Женя полюбила французов: своей приветливостью, ласковостью, горячей признательностью, сквозившей в каждом слове, своей деликатностью они завоевали общее расположение.

Сердце Василисы, помогавшей барыне и барышне ухаживать за больными, было покорено первым.

Доброе открытое лицо молодого француза, веселая улыбка, которой он отвечал на непонятную ему речь старушки, полные благородства и страдания черты полковника, его вежливость делали свое дело.

– На-ко, батюшка мусью, беспременно еще супцу съешь, – подув на ложку, уговаривала однажды Василиса старика. – Как поешь, так и покрепчаешь.

– *Merci, madame, je ne veux plus...*[15]

– Мерси-то мерси, а все ж таки кушай, – польщенная титулом «мадам», настаивала Василиса, снова поднося ложку.

– *Non, merci*[16], – протестовал тот.

– Да не «нон», а «вуй»! И ешь, мусью, без всяких разговоров. Компреню[17]? – расточала женщина весь свой запас французских слов, сохранившийся у нее от пребывания в доме гувернанток.

Слабая улыбка пробежала по лицу больного.

– *Merci, madame, je n'ai pas envie*[18], – отказывался тот.

– Позови, – поняв по-своему, повторила женщина. – Позову, но прежде съешь! Манже! – вдруг осенило ее новое воспоминание.

– *Pas envie, madame*[19]...

– Позови да позови! Эк ему приспичило! Супу даже не доел! – недовольно ворчала старуха. – Да ладно, позову уж, – благосклонно согласилась она.

– А кого позвать-то? Должно быть, Женю, кого ж больше? – уже в столовой сообразила Василиса. – Иди, Женюша, кличут тебя там мусьи-то твои.

Девочка поспешно направилась в красную комнату. Полковник лежал один; его товарищ, который уже вставал с постели, весело болтал в соседней комнате с Николаем Михайловичем и Борей. Оба успели привязаться к месье Мишелю, особенно мальчик, души не чаявший в своем новом друге-французе, веселом и изобретательном на всякие выдумки.

– Няня сказала, что вы звали меня? – проговорила Женя, подходя к кровати больного.

– Нет, сам бы я, конечно, не позволил себе этого, но раз счастливое недоразумение привело вас, я бесконечно рад, – ответил тот, и бедные, грустные глаза его доказывали, что это не только любезная фраза.

– Сядьте тут, – указал он на ближайший к постели стул. – Дайте хорошенько посмотреть на себя, доставьте эту радость больному старику. Вы ведь не сердитесь, что я так говорю? Нет, вижу, не сердитесь, не обижайтесь за мою, быть может, излишнюю прямоту. Если бы вы только знали, какое громадное утешение для меня ваше присутствие! – через некоторое время продолжал француз.

– Я и сама всегда рада посидеть с вами, мой милый полковник, – искренне ответила Женя.

– Доброе дитя! – ласково взглянул на нее старик. – Что я для вас? Случайно заброшенный на вашем пути несчастный больной, тогда как вы для меня...

Он на минуту умолк.

– Ведь и у меня была дочь, с такими же, как у вас, золотистыми глазками, с такими же, унаследованными от матери каштановыми кудрями, словно осыпанными золотыми блестками. Никогда в жизни не я встречал подобных

волос, – мечтательно и грустно продолжал француз. – Была у меня любимая и любящая жена... Я обоих потерял, и жену, и дочь... Все принес в жертву этому ненавистному Наполеону... О, как ненавижу я его! – вдруг с силой почти выкрикнул больной. – Для этого человека нет храмов, нет гробниц, нет святынь! Он все кощунственно оскверняет, все топчет своими преступными ногами...

Сильное внутреннее волнение оборвало голос, отняло силы старика.

Женя, живое воплощение сострадания и ласки, смотрела на это еще более побледневшее лицо, на тяжело вздымавшуюся грудь, на закрывшиеся веки больного.

– Полковник, милый, успокойтесь! Вам вредно волноваться, не надо, не надо!.. – просила она, и ее мягкая ручка нежно гладила руку больного.

Старик открыл глаза; слабая счастливая улыбка пробежала по его лицу. Молча, долго и пристально он всматривался в каждую черточку, в более обычного искрившиеся от блестевших в них слезинок глазки этого милого существа.

– Значит, теперь вы совсем-совсем одиноки? Неужели у вас нет никого родного и близкого? – через некоторое время, когда больной окончательно пришел в себя, осведомилась Женя.

– Ни одной живой души. Я совершенно одинок.

Сердце девочки сдавила острая жалость.

– Бедный, бедный полковник! – сорвалось с ее уст, и она крепко сжала его руку.

– Теперь вы понимаете, почему мне так дорого ваше присутствие, что составляет оно для меня! Вы тот светлый сон наяву, в котором воскресают милые образы снов моей далекой, счастливой молодости... О, какой далекой!..

Он прикрыл глаза и, казалось, ушел в прошлое.

– Сколько вам лет? – затем осведомился он.

– Пятнадцать.

– Пятнадцать?.. – задумчиво повторил он. – И моей маленькой Женевьеве теперь тоже было бы пятнадцать лет, – промолвил больной.

– Женевьеве? Вашу девочку так звали? Вот странно, и меня тоже зовут Женевьевой. Женя – ведь это сокращенное имя... – торопливо и радостно промолвила девочка.

Ей казалось, что этому несчастному человеку доставит удовольствие узнать, что ее зовут так же, как его покойную любимую дочь.

Больной с побледневшим лицом и неожиданно появившейся силой приподнялся на локте.

Что это? В ту минуту, когда жизнь казалась изжитой до конца, когда потухла всякая надежда, неужели выплывает вдруг лучезарный призрак, мечта стольких безотрадных лет?

– Женевьеве? Вашу девочку так звали? Вот странно, и меня тоже зовут Женевьевой. Женя – ведь это сокращенное имя... – торопливо и радостно промолвила девочка.

Ей казалось, что этому несчастному человеку доставит удовольствие узнать, что ее зовут так же, как его покойную любимую дочь.

Больной с побледневшим лицом и неожиданно появившейся силой приподнялся на локте.

Что это? В ту минуту, когда жизнь казалась изжитой до конца, когда потухла всякая надежда, неужели выплывает вдруг лучезарный призрак, мечта стольких безотрадных лет?

– Вас зовут Женевьевой?.. Но вы... русская? – дрожа от волнения, проговорил он.

– Да, русская, – твердо, не колеблясь, ответила девочка.

– И вы всегда жили в России?

– Всегда.

Признать себя француженкой?! Нет, такой жертвы Женя не принесла бы, кажется, даже ради успокоения этого несчастного. К тому же она испугалась впечатления, которое произвело ее имя: не радость, как ожидала она, а испуг и страдание отразились на лице полковника. Девочка искренне раскаивалась в своей неуместной болтливости.

– У вас есть отец? Где он? – едва выговаривая от волнения слова, продолжал полковник.

– Да, есть. Он сейчас на войне, и брат тоже. Мы вчера получили от них письмо, – пояснила Женя.

– А как ваша... фамилия? – спросил француз, как утопающий хватается за последнюю соломинку.

– Троянова.

– Троянова?.. Троянова?.. – словно ища чего-то в созвучии этих слогов, несколько раз протяжно повторил больной. – Троянова!..

Ничего, решительно ничего не говорило ему это имя.

Загоревшийся было взгляд потух; разбитое тело бессильно опустилось на подушку. Этот громадный духовный подъем надломил слабые силы несчастного. Исчез последний проблеск надежды, догорел светильник, озарявший темный жизненный путь. Больной закрыл утомленные веки. Женя встала и неслышной походкой вышла из комнаты, чтобы не мешать ему спать.

Но полковник не спал. Мозг, взбаламученный неожиданно нахлынувшими ощущениями и мыслями, старался осилить их.

Разве могло случайно существовать это необыкновенное, поразительное сходство? Голос матери, глаза дочери, волосы обеих вместе – всё странной игрой природы соединилось в этой девушке. Да не это одно.

А имя? А возраст? Нет, суровая жизнь не позволяет себе подобных шуток, подобных забав. Это она, она, его Женевьева, его солнышко, его счастье!

Сам Бог привел его сюда, чтобы ему, одинокому, закрыла глаза родная рука.

– Моя девочка, моя крошка! – ласково шепчут губы больного, и тихие слезы текут по впалым щекам. – Троянова... Троянова... Отец и брат на войне... Вчера было известие...

Неумолимая, холодная действительность сразу вспугивает, разгоняет охватившие его мечты. Тают, ползут, расплываются светлые грезы... Ночь, настоящая темная, беспросветная ночь...

К утру состояние больного настолько ухудшилось, что встревоженная Анна Николаевна послала за доктором. Приехав, он печально покачал головой:

– Его песенка спета: ни сердца, ни пульса; организм истощен до последней степени, видимо, не одними только внешними обстоятельствами и бедствиями. Жизнь чуть теплится в нем. Будьте готовы к самому худшему.

Женя весь день не отходила от старика.

Он лежал молча и неподвижно, почти без всяких признаков жизни. Со слезами на глазах девочка умоляла его сделать глоток вина, съесть несколько ложек супу. Видимо, снисходя лишь к ее просьбе, с громадным усилием, почти отвращением он согласился.

К вечеру ему стало будто немного легче. Он открыл глаза и остановил их на Жене, то и дело смахивавшей с ресниц набегавшие слезы.

– Моя маленькая, моя крошечка! – вслух произнес он столько раз мысленно повторенное им в протекшую бессонную ночь. – Дорогая моя девочка, моя златокудрая Женевьева! – вкладывая всю душу в произносимые слова, продолжал больной. – Не сердись, моя птичка, что я так тебя называю, на меня уж поздно сердиться... Дай обнять тебя, дай прижать к своему сердцу твою дорогую головку, до самой глубины заглянуть в твои золотистые глазки.

В ту же минуту руки девочки обвились вокруг этой седой головы. С любовью, лаской и бесконечной жалостью припала кудрявая головка к этой одинокой страдавшей груди. Больной, с тоже влажными от слез глазами, бережно гладил шелковистые завитки Жениных волос.

– Какое счастье обмануть себя мечтой, что ты не одиноким покидаешь жизнь, чувствовать вблизи себя дорогое существо, сознавать, что в эту минуту для тебя бьется и тоскует доброе сердечко, что о тебе льются чистые, искренние слезинки...

– Неправда, неправда! Вы не уйдете, вы будете жить, всегда, всегда останетесь с нами, тут в Благодатном! Мы будем так холить, так беречь вас. Все-все: и папа, и мама, и Китти, и Сережа. Они такие добрые, такие хорошие! А я, я все, все сделаю, чтобы вам казалось, что около вас ваша собственная, любимая, настоящая Женевьева. Посмотрите, как будет хорошо, так хорошо!..

– Поздно, моя девочка, поздно! – с благодарной грустной улыбкой выслушав ее, возразил умирающий. – Кто знает, увидимся ли мы еще завтра?..

Он утомился и говорил все медленнее, все с большим трудом.

– Пусть же останется обо мне хоть маленькая память... хоть что-нибудь...

Вот это... единственное сокровище, которое не отнял у меня Наполеон...

Больной хотел снять что-то со своей шеи, но у него не хватило сил приподнять голову.

– Помогите, – попросил он.

Женя поддержала его; тогда ему удалось снять с шеи вылинявший, местами перетертый черный шнурок.

Дрожащей рукой он сам перевесил его на шею девочке.

– Все, что осталось... на память... маленькой Женевьеве, ясному солнышку... пригревшему... осветившему последние дни... одинокого старика...

Конец фразы с трудом можно было расслышать. Умиравший, казалось, впал в забытье.

На груди горько плакавшей девочки висел массивный медальон.

Женя, вся в слезах, пришла сообщить Трояновой о том, что «бедному полковнику совсем-совсем плохо», и показала полученный подарок. Открыв медальон, Анна Николаевна невольно вздрогнула: на портрете, находившемся внутри, она без малейшего труда узнала мать Жени и ее саму, еще крошечную, сидящую на руках женщины.

В первую минуту Троянова открыла рот: восклицание готово было сорваться с ее уст, но она вовремя остановилась.

К чему Жене знать правду? Она может принести только горе. Вырвать девочку из почвы, в которую она так прочно вросла, значило бы искалечить ее впечатлительную душу, оборвать пущенные ею молодые побеги. Дать найти отца, настоящего родного отца, с тем, чтобы через несколько дней, может быть, часов разлучить их?.. Да Женя считала его давно умершим, никогда не вспоминала, давно забыла о нем и всей душой горячо и крепко любила своего приемного, Богом данного отца. Нет, в данном случае правда была бы жестока, и Троянова решила скрыть ее.

Предчувствие не обмануло умирающего: в ту же ночь его не стало.

Через два дня он был похоронен в небольшой рощице, недалеко от того места, где в памятное зимнее утро судьба натолкнула на него Женю.

На скромном холмике возвышался чистый белый крест без обозначения имени: слишком много могло бы оно сказать одним и пустым звуком осталось бы для остальных. Зато веточки живых, ежедневно меняемых цветов пестреют на свежем холмике: заботливая рука холит и бережет его.

– Это хорошо, Женюся, хорошо, моя девочка, с твоей стороны, – поощряла Троянова девушку. – Покойный так любил тебя, так привязался к тебе, ты была для него самым близким, самым дорогим существом, он видел в тебе как бы дочь свою, которую ты так ему напоминала. Теперь тебе надлежит беречь и навещать эту одинокую, судьбой заброшенную сюда могилу.

И она не была забыта: тоненькая фигурка маленькой Женевьевы, тщетно и страстно разыскиваемой отцом при жизни, склонялась теперь над его могилой: он больше не был одинок, около него была дочь.

На следующий же после похорон день окончательно оправившийся, пополневший и порозовевший месть Мишель решительно заявил о своем отъезде.

Едва поднявшись на ноги, деликатный француз, стеснявшийся злоупотреблять гостеприимством, завел речь об отъезде. Тогда все единогласно воспротивились его намерению, к тому же и сам он не мог

покинуть больного товарища. Теперь же настойчивые уговоры и убеждения повременить, погостить еще немного оказались тщетными.

– Я всей душой благодарен вам за вашу доброту, за ваше радушие. Словами я не в силах отблагодарить за все, что вы сделали для меня, пусть Господь вознаградит вас за это! – говорил он задерживавшей его Жене. – Но я должен, должен уехать! Дома у меня осталась мать и четыре маленькие сестренки. Они совсем одни, отца у нас нет, я старший и единственный мужчина в семье. О, если бы не это, я бы ни за что, никогда не расстался с Россией. Я так привязался к ней, сжился, полюбил этих храбрых, радушных, таких доверчивых и бесхитростных русских. Сколько великодушия, сколько незлобивости, сколько прямоты! – восторженно говорил юноша. – Как они умеют сражаться! Как беззаветно жертвуют своей жизнью! Я видел вблизи, как умирал русский знаменщик: холодеющей рукой он еще сжимал знамя, и, уже мертвая, она не выпускала древка. А как глубоко возненавидел я Наполеона за эту преступную войну, за его отношение к русским! Не я один, нас много, истинных французов, кто содрогнулся от его кощунства. Во что он обращал народные святыни?

Что делал с храмами, с христианскими храмами? Разве не один у нас с русскими Бог? Разве не все мы христиане? Разве не равно свято повсюду изображение Всемогущего? Мы краснели за своего императора. Каким неразборчивым в средствах, каким маленьким казался Наполеон в сравнении с гордым, джентльменом до мозга костей, императором Александром! Бонапарту чужды высокое благородство и великодушие, доступные лишь тем, в чьих жилах течет прирожденная царская кровь. О, поверьте, если бы я только мог, если бы имел малейшую возможность, никакая сила не заставила бы меня расстаться с милой Россией! – с горящим лицом, с блестящими глазами, восторженно закончил свою речь пылкий молодой француз.

– Милый мой Мишельчик, пожалуйста, побудьте еще хоть немножко, не уезжайте! Я так буду скучать без вас! – карабкаясь к нему на колени и обнимая за шею, убеждал Боря. – А вы скоро опять к нам приедете? – не добившись согласия, через минуту допытывался мальчуган.

– Едва ли, дружочек мой, удастся мне когда-либо снова попасть к вам. Ты слышал, дома у меня мама, сестренки, я буду там служить...

– Так знаете что? – хлопнул даже в ладоши, радуясь своей удачной мысли, ребенок. – Хотите мы к вам в гости приедем? Можно? Вы позволите?

– Очень, очень прошу, всей душой буду рад, милости просим! – приглашал юноша.

– А только как же... – обуреваемый сомнением, задумался Боря. – Ведь мы вашу маман и сестер совсем не знаем... Может, они не хотят нас видеть, рассердятся? Может быть, они не любят русских, сердиты, что они еще

воюют с французами?.. Знаете что? Теперь я совсем хорошо придумал, – через минуту, соскочив даже от волнения с колен, заговорил Боря. – Пускай Женя женится на вас, не сейчас, а когда вырастет, и тогда мы все к Жене в гости приедем. Правда, хорошо?

Ярко, мучительно вспыхнули лицо, шея и уши молодого француза; казалось, он готов был провалиться сквозь землю. Сконфуженная, покраснела слегка и Женя. Сам же виновник неловкости, не заметив вызванного им переполоха, пулей помчался делиться с матерью своими блестящими планами.

– Мадемуазель Жені, – оставшись наедине с девочкой, начал Мишель, – позвольте же мне еще раз поблагодарить лично вас за все, за все: ведь это вы и подобрали, и воскресили меня. Всем, даже жизнью своей, я обязан вам, вам одной! – дрожащим, взволнованным голосом говорил француз. – У меня есть одна вещь, вот тут, – он достал что-то из-за пазухи. – Я свято хранил ее, берег, мечтал когда-нибудь положить к ногам Наполеона. С тех пор все изменилось во мне: я презираю этого человека, я не хочу вплести ни одного лишнего листка в его лавры. И отдаю это теперь в ваши руки. Пусть оно послужит доказательством моей глубочайшей искренней любви к... русским, – на секунду запнувшись, закончил юноша, подавая Жене какой-то плоский сверток.

Девушка смущенно вертела в руках полученное, собираясь открыть его.

– Не теперь, потом, – остановил ее француз, увидев возвращавшегося Борю и опасаясь, очевидно, какой-нибудь новой опасной выходки со стороны резвого ребенка.

Горячими пожеланиями, добрыми словами напутствовали отъезжающего. Все успели искренне привыкнуть к этому приветливому, добродушному, простосердечному юноше.

В экипаже Трояновых молодой француз двинулся в путь под надежной охраной, осыпая благодарностями и благословениями приютивший его русский дом.

Только поздно вечером, ложась спать, Женя вспомнила о подарке Мишеля.

– Что это? Тряпка!.. И какая грязная! Да еще и рваная к тому же... – недоумевая, вертела девочка в руках довольно большой кусок материи. – Что мне с ним делать? И что это? – рассуждала она. – И эта штука предназначалась сперва Наполеону... Несчастный Наполеон, он, вероятно, так же ломал бы голову, как и я. Бедный Мишель, как он волновался, поднося мне свой презент!.. Что за странная фантазия дарить на память грязную тряпку? Хотя, с другой стороны, что еще у него было? Ведь не сапог же в качестве сувенира оставить? Да в одном и не уйдешь, а к тому же его

собственные, французские, давным-давно без подошв, еще когда мы подобрали его, так они уж лохмотьями болтались... А, может, он по ошибке дал эту тряпку вместо чего другого? Все равно, надо спрятать, все-таки память... Он такой славный был...

Женя, свернув подарок, сунула его в ящик шифоньера.

ГЛАВА 13

Война окончилась. Изнуренные, голодные и холодные, беспощадно преследуемые, жалкие крохи бывшей великой армии дотоле непобедимого Наполеона едва достигли границы.

Холодные поля России погребли сотни тысяч храбрых сподвижников Бонапарта, погребли они и его славу. Дрожа за личную жизнь и свободу, бросив на произвол судьбы остатки своих войск, не победителем он спасался, а жалким беглецом, переодетым в чужое платье.

Враг был выметен из пределов России. Радостно звучат колокола, совершаются благодарственные молебны. Полной грудью вздохнула измученная страна. В радостном, истинно праздничном настроении готовилась она встретить великий день Рождества Христова.

Сияла и искрилась природа, словно и она хотела принять участие в русском народном ликовании.

Озаренное улыбкой мягкого зимнего солнца, Благодатное возвышалось среди серебристых равнин сказочным белоснежным царством. Поседел густой лес; поседел темный сад; бережно прикрыл мягкий, теплый полог старые корни от зимней стужи. Не вздрагивают, не жмутся зябко друг к другу старики-деревья – они величественно запахнулись в пышные белые меха. Тонкие, нежные, трепетные ветки берез оторочены полосами лебяжьего пуха, на их концах сверкают алмазные подвески. Даже вечнозеленые жизнерадостные елки, защищенные от холода своими густыми иглами, и те поспешили принарядиться в горностаи и блески, переплести белоснежным пухом свои раскидистые темные ветви. Прихорашиваясь, смотрятся в неподвижный зеркальный пруд прибрежные ивы. Замерев, все ждут близкого великого праздника.

Давно забытая веселая суета, приподнятое от ожидания настроение и суматоха снова царят в Благодатном, в его ожившем, словно посветлевшем и помолодевшем старом доме.

Завтра великий день – сочельник. Но никогда еще с таким ясным чувством, с таким жгучим нетерпением и заботой не готовились к нему, как в этот раз: ведь завтра после полугодовой разлуки снова соберется сюда вся семья, завтра зазвучат здесь милые, родные голоса, по которым так стосковалось

ухо, улыбнутся дорогие лица, лишь в тревожных сновидениях являвшиеся за последние тяжелые месяцы, – мир, покой и счастье завтра снова водворятся здесь, в этом потемневшем, замершем, заглохшем было старом доме. Пришло известие, что молодой Муратов уже накануне прибыл в свое имение. Завтра очередь за Трояновыми!

Женя страшно волнуется. Ей иногда искренне кажется, что она не доживет до следующего дня. «Вдруг не придут? Вдруг опоздают?» – переживает девочка.

В сочельник у Трояновых всегда зажигается елка, тогда же, в день православной Евгении, из года в год, с самого поселения Жени в Благодатном, празднуются и ее именины. Мудрено ли, что девочка волнуется, что страшным горем кажется ей, если вдруг опоздают к «ее» дню? Более двух недель уже идут приготовления к елке. Мисс, сама Женя, Николай Михайлович, Малаша – словом, все, кто может быть полезен, привлечены к этому ответственному делу. Надо заготовить звезды, много-много золотых и серебряных. Ничего, кроме звезд и свечей, не должно в этот раз висеть на елке: во-первых, в память Вифлеемской звезды, светившей пастырям, во-вторых, в честь тех звездочек-хранительниц, которые сберегли и Сережу, и папу, и Китти, и Юрия. Так решила Женя.

Она с детства глубоко верит, что у каждого человека есть свой ангел и своя звезда-хранительница, заботливое око Божие, следящее и оберегающее его от всяких бедствий.

Целыми грудями блестящих звезд разной величины завалены столы. Теперь очередь за самим деревом.

На сей раз Жене кажется невозможным доверить выбор елки леснику Игнату, несмотря на то, что он уже двадцать лет ежегодно с честью выполняет эту миссию. Нет, в этом году должно быть нечто особенное, и девочка настаивает, чтобы самой выбрать дерево. С этой целью снаряжается в лес целая экспедиция: мисс Тоопс, Николай Михайлович, Боря и сама Женя; позади с топором в руках идет Игнат.

– Вот, вот эту! – останавливается Женя перед стройной, как пирамида, великолепной елью. – Ее и возьмем.

Игнат усмехается.

– Да нешто мыслимо ее в дом-то внести? Ведь она сама, почитай, раза в два выше дома будет, – заявляет он.

– Что ты? Разве? Жаль! Ну, тогда вот эту.

– Да и эта не ниже, коль еще не повыше той будет, – снова протестует несговорчивый лесник.

– Ну, так вот! Меньше этой, как хотите, брать нельзя, – останавливает свой выбор Женя на высоком, раскидистом дереве.

Игнат только переминается с ноги на ногу.

– Дозвольте мне, матушка-барышня, на свой вкус деревцо выбрать. Кажись, не впервой, завсегда потрафлял, а коли не понравится – другое разыщем. Вот, к примеру, хороша эта елочка: любо-дорого глянуть, – указывает он вправо от облюбованной девочкой елки.

– Что ты? Разве? Жаль! Ну, тогда вот эту.

– Да и эта не ниже, коль еще не повыше той будет, – снова протестует несговорчивый лесник.

– Ну, так вот! Меньше этой, как хотите, брать нельзя, – останавливает свой выбор Женя на высоком, раскидистом дереве.

Игнат только переминается с ноги на ногу.

– Дозвольте мне, матушка-барышня, на свой вкус деревцо выбрать. Кажись, не впервой, завсегда потрафлял, а коли не понравится – другое разыщем. Вот, к примеру, хороша эта елочка: любо-дорого глянуть, – указывает он вправо от облюбованной девочкой елки.

– Что ты, Игнатушка! С чего ты это так скупишься? – негодует Женя. – Да какое же это дерево? Тросточка какая-то торчит! Надо хорошее, большое, такое, понимаешь, какого еще никогда не бывало. А ты кустик какой-то сулишь. Право ж, он чуть повыше меня будет.

– Ан, ну-ка, извольте, барышня, примериться, – предлагает лесник.

Женя подходит. Дерево настолько велико, что, став совсем рядом, она не может увидеть его верхушки. Девочка несколько смущена.

– Дай Бог, чтоб только в зал-то она прошла, елка-то эта самая; сдастся мне, что бесприменно подпилить понадобится, – пророчествует Игнат.

Дерево всеми членами комиссии одобрено, и, хотя Жене оно все-таки кажется маловатым, его рубят и везут.

– Будет мало, другое достанем, – утешается девочка.

Игнат был прав: пришлось подпилить ствол и срубить нижние ветки, так как ель оказалась немного выше потолка.

Наконец все лишнее удалено, приделан крест, и дерево поставлено посреди зала. Но увешивать его будут только завтра, в сочельник, раньше этого никогда не делают. Украшать будут все вместе, это своего рода священнодействие, к которому допускаются лишь члены семьи и избранные приближенные.

Женя ложится спать пораньше, чтобы сократить время до радужного «завтра». Но обмануть саму себя не так-то легко. Сон бежит от глаз девочки; пестрые, разнообразные, счастливые картины носятся в мозгу.

Наконец далеко за полночь, позднее, чем когда-либо, Жене удается заснуть, потому и утром она просыпается позже обычного.

– Проспала! Вдруг уже приехали?

Девочка торопливо плещет водой на лицо и шею.

В эту самую минуту раздается звон приближающихся колокольчиков, он все усиливается. Вот скрипят полозья, и замолкает звонок. Остановились! Приехали!

Да, в этом не может быть сомнения, судя по радостному шуму голосов, оглашающих двор, по торопливо со всех сторон хлопающим дверям. «Скорей! Скорей!» – чуть не плача думает Женя.

С наскоро вытертым, свежим, сияющим личиком, с распущенными по плечам волосами, в едва запахнутом розовом халатике, она бежит навстречу.

– Сережа!.. Папа!.. Китти!..

Захлебываясь от радости, девочка обнимает их, своих милых, дорогих. И горячие, жаркие поцелуи, счастливые улыбки сыплются в ответ.

– Как ты выросла, Женя!

– Какая большая!

– Совсем взрослая! – несетя со всех сторон.

Каждый привлекает ее к себе, внимательно осматривает и любит ее.

Нежное, как лепесток розы, сияет личико девушки; масса словно перевитых золотистыми нитями каштановых кудрей прихотливо разметалась; ясные, прозрачные, светло-карие глазки золотятся сверкающими в них искорками; мягким румянцем залиты щеки. Вся она, точно сотканная из золотистых и розовых тонов, такая юная, свежая, улыбающаяся, напоминает алеющее рассветом ясное майское утро. Глаза приезжих отвыкли от ее хорошенького, как картинка, личика, и оно невольно поражает своей прелестью.

Сереже даже кажется, что он первый раз в жизни увидел Женю, настоящую Женю, такую, какова она сейчас.

«Милый, славенький, золотой Жучок!» – думает он.

Впрочем, высокая, тоненькая, подвижная, с развевающимися широкими рукавами светлого халатика, она скорее напоминает собирающуюся вспорхнуть легкую яркую бабочку.

В свою очередь, Женя рассматривает приехавших. Китти немного побледнела; в лице ее заметно некоторое утомление, зато как радостно, как весело смотрят ее синие глаза!

– Папуся совсем-совсем молодчина! – восторженно одобряет Женя.

Сереза вытянулся, возмужал и похудел, но... Что это?!

– Сереза, ты хромаешь? Тебя ранили? – испуганно восклицает Женя.

Глаза матери тоже с тревогой останавливаются на ноге сына. В первую минуту охватившей всех радости никто не обратил внимания на походку Серези.

– Ты ранен? – спросила Анна Николаевна.

– Пустяки, царапина, – с сознанием собственного достоинства, роняет Сереза.

Действительно, поврежденная нога составляет источник его величайшей гордости: он чувствует себя героем, пролившим кровь, защищая отечество.

– Почему ты ничего не писал, говорил все время, что здоров? – допытывается Анна Николаевна.

– Да стоило ли беспокоить тебя из-за этого, дорогая? Самая пустяковая рана, говорю, царапина, а издали все страшнее кажется. Вы бы тут переполошились, между тем всё, слава Богу, в порядке; вот только прихрамываю еще немножко, – снова не без некоторого самодовольства ввернул Сереза. – Ну да это вздор, доктор сказал, что скоро пройдет...

В сущности, молодой воин и теперь хромал не так уж сильно, как старался показать.

– Во всяком случае, сядь, стоять тебе вовсе не полезно, – заботилась о сыне Анна Николаевна.

Когда первые восторги и радостные порывы улеглись, начался тот отрывистый, бессвязный, бестолковый обмен впечатлениями, который всегда следует за такими минутами: каждый торопился рассказать случившееся с ним, а так как материалу было очень много, тратить же драгоценного времени на длинные пересказы не хотелось, то сыпались лишь обрывки происшествий и впечатлений. Подробности – потом когда-нибудь, успеется, а пока только так, хоть приблизительно, чтобы все знали.

Конечно, в общих чертах было передано о найденных на дороге французах, о смерти бедного старика.

Улучив минуту, когда Женя вышла, Троянова сообщила под секретом мужу и детям о непонятной игре судьбы, приведшей отца именно туда, где находилась потерянная им дочь. Анна Николаевна поторопилась коснуться этого вопроса, чтобы висящий на Жениной груди медальон, на который, конечно, обращено было бы внимание, не повлек каких-либо щекотливых шуток и разговоров.

Событие произвело на всех впечатление; особенно сильно подействовало оно на Сережу.

Так как заниматься одними разговорами в этот день было недосуг, то соединили два дела в одно: принялись за украшение елки, в то же время не прекращая болтовни.

– Нет, нет, только не ты со своей больной ногой! – запротестовала Женя, когда Сережа вздумал карабкаться на лестницу, чтобы украсить верхнюю часть дерева.

– Я сама полезу, не беспокойся, достану, – вишь, руки какие длинные-предлинные выросли, до самой макушки доберусь. Ну, а нет, так Николаю Михайловичу поклонимся, он выручит.

Тоненькая фигурка Жени стояла уже на верхней ступеньке.

– Вот какая я большая! А вы все маленькие-маленькие! Я на вас с высоты своего величия гляжу и для вас недосыгаема, – дурачилась девочка.

– Женя, ты непременно свалишься, – останавливала Китти сестру, все время вертевшуюся то в ту, то в другую сторону.

Навешивая звезды, она в то же время болтала без умолку и, рассказывая что-нибудь, для наглядности то приседала, то широко разводила руками в соответствующих местах.

Перебивая и на каждом шагу вворачивая свое словечко, не отставал от сестры и Боря. Вопрос о французах был для него самым интересным, да притом одним из последних крупных событий, имевших место в отсутствие родных.

– Как жаль, Сережа, что ты не видел месье Мишеля! Он такой милый! Это мой большой друг, – пользуясь временным молчанием сестры, выкладывал мальчуган.

Женя сосредоточенно и, видимо, не совсем удачно пристраивала что-то наверху.

– Жаль, что ты раньше не приехал, застал бы его! А он больше никак тут остаться не мог: у него дома очень плакали мама и сестры. Но это ничего, ты все-таки познакомишься с ним, потому что мы поедем в гости во Францию. Женя, когда вырастет, женится на нем, а мы к ней в гости поедем. Так мы с Мишелем решили, – болтал мальчуган.

Сережа нахмурился.

– И Женя так решила? – бросив взгляд наверх и стараясь говорить шутливо, спросил Сережа.

– А мы ее попросим! И ты попроси, Сережа. Она согласится, она очень любит месье Мишеля. Все разговаривала с ним, смеялась; он и подарок ей на память дал. Правда, Женя? – выложив все, обратился Боря к сестре.

– Что правда? – рассеянно и нетерпеливо спросила девочка; у нее там, наверху, вышла с елкой крупная незадача: нитки от четырех звезд перепутались между собой, зацепились за ветки и, стянув их в один нелепый пучок, изуродовали весь правый бок дерева.

– А что тебе француз подарок на память дал, – пояснил ребенок.

– Ну да, медальон. Все же видели.

– Не старый, не тот, который умер, а месье Мишель.

– Месье Мишель? Мне? Подарок? – с искренним удивлением, забыв даже про запутанную нитку, повернулась Женя. – Глупости болтаешь, ничего подобного не было.

– Месье Мишель? Мне? Подарок? – с искренним удивлением, забыв даже про запутанную нитку, повернулась Женя. – Глупости болтаешь, ничего подобного не было.

– Нет, не глупости! Подарил, я сам видел! Я входил в гостиную, а он тебе давал серый сверток, плоский такой, и говорил, что на память, – настаивал мальчуган.

Сережа хмурился все больше и больше: то, что Женя что-то скрывает, ему особенно не нравилось.

– А-а, вспомнила! Правда, правда!

Женя решила оборвать нитку, и в ту же минуту веточки приняли свое первоначальное положение.

– Вот видишь! А что? Покажи! – допытывался братишка.

– Когда-нибудь в другой раз, сейчас жаль работу бросать, не стоит из-за такой глупости от дела отрываться, – отнекивалась Женя.

– Все-таки интересно посмотреть, если это, конечно, не секрет, – язвительно подчеркнул молчавший до тех пор Сережа.

Девочка быстро повернула свое удивленное веселое личико.

– Секрет? Глупый! Какой же тут может быть секрет? Понимаешь – тряпка! Честное слово! Старая, рваная, грязная тряпка. – Женя засмеялась. – Не веришь? Пойду разыщу сейчас и покажу.

Девочка, проворно спрыгнув с трех нижних ступенек, побежала в свою комнату.

В душе Сережи творится что-то особенное. Сегодня, когда он после первой в их жизни разлуки с Женей снова увидел ее, такую сияющую, ласковую, такую хорошенькую, сердце его сладко и радостно забилось. Он смотрел и не мог насмотреться. Потом, когда мать наскоро передала известия об отце Жени, так неожиданно чуть не вторгшемся в ее жизнь, сердце Сережи тоскливо сжалось. «Боже, что было бы, если бы старик не умер, если бы стало известно, что Женя его дочь? Он захотел бы увезти ее. Женя стала бы

для них чужая!.. А он же как? Как же он, Сережа, без нее, без дорогого, милого Жучка своего?»

Пустой, холодной, невысказанной представилась ему жизнь без этой девочки, которую он помнит с тех пор, как помнит себя, которую любит, как сестру...

Нет, больше, в сто раз больше, чем Китти, он любит Женю. Сережа так ясно сознает это сейчас...

И что же? Миновал один страх, старик умер. Так вдруг тот, другой, Мишель какой-то, о котором толкует Боря... И почему Женя скрывает его подарок? Почему ни за что не хотела показать?

Вот о чем думал Сережа, не слушая неумолкаемой болтовни братишки, пока Женя выворачивала наизнанку все ящики шифоньера, не помня, куда именно сунула тогда серый сверток, искренне забыв о самом его существовании.

– Вот он, сувенир-то! – смеющаяся, вбежала она наконец в зал.

– Господи, и чудак же бедный Мишель! Придет же в голову этакую тряпицу преподнести. И грязная какая! А ды-ыр!.. Раз... два... три... четыре... пять... шесть... семь...

Развернув во всю ширину серое полотнище, Женя начала подсчет, но Сережа, взволнованный, без малейшей улыбки на лице, рванулся в ее сторону.

Глаза Китти и Николая Михайловича тоже, как прикованные, остановились на непонятном предмете.

– Да ведь это же знамя! Наше русское знамя! – почти в один голос воскликнули они.

– Папá, папá, посмотри скорей! Ведь я не ошибаюсь, это же знамя! – радостно взволнованный, звал Сережа отца.

– В чем дело? Какое знамя? – недоумевающе спросил тот.

– Да вот, у Жени...

Но глаза боевого генерала уже впились в драгоценный предмет.

Глаза боевого генерала уже впились в драгоценный предмет.

– Наше русское знамя!.. Да какое!.. Боевое, пробитое вражескими пулями, дважды дорогое, дважды священное знамя!

Голос старика дрожал; глаза блистали умиленными слезами. Женя стояла, совершенно ошеломленная.

– Так вот она, тряпочка! Вот почему месье Мишель собирался положить ее к ногам Наполеона!.. – пораженная, вслух соображала она. – Не-ет! Не у ног Наполеона оно будет лежать; я пошлю его нашему царю. Это будет ему мой подарок к Рождеству. Я сама пошлю, никому не позволю! Господи, какое счастье! Я... я... и вдруг русское знамя! Наконец-то, наконец я какую-нибудь радость сделаю русским, нашему дорогому государю! Наконец! Наконец!..

Женя прыгала, как сумасшедшая; она от радости потеряла голову, не зная, что предпринять.

– Но я все-таки не понимаю, откуда оно взялось? Объясни ты, егоза, толком! – взмолился недоумевавший Троянов.

Женя, насколько была способна в ту минуту, связно передала историю знамени.

– Вишь ты, молодчина! – смеялся генерал. – Вот мы с тобой, Сергей, и на войне были, да с пустыми руками вернулись, а эта стрекоза тут, дома сидя, у французов знамя обратно отвоевала. Ай да молодчина! Поди скоренько, дай расцелую твои геройские щеки.

Не чувствовавшая под собой ног, вся светящаяся счастьем, девочка повисла на шее старика.

Уборка дерева закончена. Нужно идти в церковь, по возвращении оттуда ожидают приезда всех Муратовых, тогда – обед, после него – елка. Следующий день предполагалось провести всей семьей в Муратовке.

– Сережа, а как же ты пойдешь со своей ногой? – осведомилась Женя. – Ведь тебе трудно ступать. Знаешь, ты обопрись об меня. Да хорошенько, не бойся, я не сломаюсь. Вот тебе и легче будет. Возьми меня, самое лучшее, под руку! – и девочка подставила ему свой локоть.

Сережа великолепно мог передвигаться без посторонней помощи, как и делал это в последнее время до возвращения домой, но ему доставляла удовольствие заботливость этой милой девочки, приятно было идти с ней рука об руку, смотреть в ее смеющееся, так давно не виденное личико, слушать ее нежный голосок.

Трояновы всей семьей вышли на крыльцо. Благодаря затрудненной походке Сергея, они с Женей вскоре оказались несколько позади остальных.

Легким морозцем дышал на них нарядный сверкающий вечер. Разубранная в серебристые парчовые одежды, спокойная, замерла в своем великом ожидании непорочно-чистая рождественская ночь. В синей выси, глубокой и торжественной, уже зажигались праздничные огни. Яркими, крупными, близкими и доступными земле казались в этот вечер лучистые звезды; радостные, трепетные, они свободно плавали по поднебесью, словно насторожившиеся, готовые при первом ударе праздничного колокола вспорхнуть и миллионами гигантских, сверкающих мотыльков рассеяться над землей, возвещая миру великую благую весть.

А тут, совсем близко, у самого плеча Сережи, блестели две яркие золотые звездочки, любовно заглядывая в самое сердце юноши.

– Сергуля!.. Милый!.. Как я рада, как счастлива, что ты снова здесь!.. Как я беспокоилась, как тосковала!.. Я каждую ночь вставала и молилась за тебя: помнишь, ведь я обещала в тот день, когда ты уезжал. Один только раз проспала, понимаешь, совсем нечаянно проспала, тогда, верно, тебя и ранили... Вот видишь, это я виновата... Как я ждала тебя! Я думала, не доживу...

Исповедуя свою прошлую тоску и настоящую радость, девочка крепко-крепко прижималась к руке своего спутника.

Теплое, нежное чувство нахлынуло на душу Сергея. «Милая, родная! Она все время думала, молилась, дрожала. Правда, ведь она говорила, обещала...»

Но в то время юноша так страстно рвался из дому, туда, в огонь, на подвиг, что тоска разлуки, слезы, обещания Жени – все это лишь скользнуло по нему. Только сейчас он оценил, прочувствовал все это.

Лишь снова увидев ее, Сергей понял, что для него значит эта преданная, хрупкая, прелестная девочка.

– Жучок мой ненаглядный! Моя золотая! Моя любимая!.. – нежно говорил он. – Ты не знаешь, что ты для меня, как я люблю тебя, больше всех, больше всего на свете!..

– Больше мамá? – сияющими глазами смотря ему в лицо, задавала Женя самый важный, по ее мнению, вопрос.

– Больше мамá, больше папá, больше Китти, больше, чем всех их вместе! – пылко проговорил юноша.

– Правда? – радостно захлебнулась девочка.

– Правда! Уж такая настоящая, самая настоящая правда! – крепко сжимая руку девочки, уверял Сергей. – Слушай, Жучок мой золотой, что я тебе скажу, – останавливаясь, продолжал он. – Стой и внимательно слушай. Сегодня сочельник, да? Так помни: ровно через год, когда тебе исполнится шестнадцать лет, мы скажем папá и мамá, что мы жених и невеста. Ты хочешь? Скажи, хочешь или нет?

Юноша бессознательно крепко сжимал ее ручки.

– Сережа! – только радостно вымолвила она.

– Говори же, говори: согласна или нет? – между тем тревожно настаивал тот.

– Еще бы! Конечно! – тихим, упавшим от счастья голосом, ответила Женя. – Неужели это правда? Ты хочешь жениться на мне, жениться?! Господи, как смешно и как хорошо, как чуд но! Какой сегодня счастливый день!..

Девочка вздохнула полной грудью.

– Боже мой, а я-то сколько раз плакала, что я вам не родная, особенно последнее время без тебя. Мне казалось, что я всем чужая, басурманка, что меня все не любят, даже ненавидят... Боже, как хорошо! Одно жаль, что никому сейчас сказать нельзя, а мне так хочется!..

– Да, этого сейчас нельзя; повремени один только годочек. А пока это наша – понимаешь? – наша тайна, – любовно глядя на девочку, говорил Сережа, нежно обняв ее.

Сияющие, полные ясною юного счастья и детской веры в него, стояли они среди освещенного храма. Особенная, им одним понятная радость звучала в переливе колоколов, раздавалась в праздничных напевах.

Еще ярче, еще ослепительнее блеснула им навстречу ликующая рождественская ночь, и счастливое небо ласково осенило их своей мягкой синевой, светло улыбались лучистые звезды...

А там, дома, никогда еще, никогда, насколько помнит Женя, так ярко не горела елка, не светились так весело ее огненные язычки.

Ожил, засиял снова замерший было старый дом; озарился малейший темный уголок его. Зазвенел тихий смех, задрожали счастливые улыбки, замелькали веселые лица. Светлая радость, столько лет царившая здесь полновластной владычицей, снова впорхнула в него, снова осенила своими лучистыми крыльями и зажгла счастливые праздничные огоньки в этих истомленных тревогами любящих сердцах...

ПРИМЕЧАНИЯ

1

Горёлки – русская народная игра, в которой один из участников («горящий») ловит других, убегающих от него поочередно парами.

2

Разговорное от англ. miss – обращения к незамужней женщине.

3

Где дамы дуются (франц.).

4

От этого сокровища (франц.).

5

Как? Вы совсем не суеверны! (франц.)

6

Буркалы – глаза (простореч.)

7

Корпия – перевязочный материал, состоящий из нитей расщипанной ветоши.

8

Нарочный – курьер.

9

Здесь употреблены искаженные фамилии французских полководцев Луи Николя Даву и Мишеля Нея.

10

Аршин – старинная мера длины, равная примерно 71 см.

11

Киот – ящик со стеклом или небольшой шкаф для икон, божница.

12

Кисля – кислятина.

13

Просвира – белый круглый хлебец, используемый в православных церковных обрядах.

14

Кацавей к а – женская утепленная безрукавка.

15

Спасибо, мадам, я больше не хочу... (франц.)

16

Спасибо, нет (франц.).

17

Приведены искаженные французские слова: «нет», «да», «понимать».

18

Спасибо, мадам, мне не хочется (франц.).

19

Не хочется, мадам... (франц.)